ЖУРНАЛ ВШЭ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

HSE UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW

2026 4 [1]

eISSN 2949-5717

Журнал ВШЭ по международному праву
HSE University Journal of International Law

Учредитель: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Электронный научный журнал. Издается с 2023 года. Периодичность: 4 раза в год. eISSN: 2949-5717.

Редакция

РУСИНОВА Вера Николаевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

БОКЛАН Дарья Сергеевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

МАРТЫНОВА Екатерина Александровна, НИУ ВШЭ, Москва, Россия
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ЗАХАРОВА Екатерина Андреевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия
РЕДАКТОР

Редакционная коллегия

АКШАЛОВА Роза Джарасовна,
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, Астана, Казахстан

БЕЛЛИ Лука,
Правовая школа Фонда Жетулиу Варгаса, Рио-де-Жанейро, Бразилия

БОКЛАН Дарья Сергеевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

ГОРСКИЙ Йенджей,
Городской университет Гонконга, Гонконг, Китайская народная республика

ЕВСЕЕВ Александр Петрович,
РГУП, Москва, Россия

ИВАНОВ Эдуард Александрович,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

КРАСИКОВ Дмитрий Владимирович,
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия

КРСТИЦ Ивана,
Университет Белграда, Белград, Сербия

ЛИФШИЦ Илья Михайлович,
Всероссийская академия внешней торговли, Москва, Россия

РОМАШЕВ Юрий Сергеевич,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

РУСИНОВА Вера Николаевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

СОЛНЦЕВ Александр Михайлович,
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

СТАРЖЕНЕЦКИЙ Владислав Валерьевич,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

ТЮРИНА Наталия Евгеньевна,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

ШЕСТАКОВА Ксения Дмитриевна,
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

ЭНТИН Кирилл Владимирович,
Суд Евразийского экономического союза, НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Редакционный совет

АБАЙДЕЛЬДИНОВ Ербол Мусинович,
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, Астана, Казахстан

АБДУЛЛИН Адель Ильсиярович,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

БОКЛАН Дарья Сергеевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

ДЕДОВ Дмитрий Иванович,
судья Европейского суда по правам человека (2013–2022),
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

ЕРПЫЛЁВА Наталия Юрьевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

КАПУСТИН Анатолий Яковлевич,
президент Российской ассоциации международного права, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Москва, Россия

КОВЛЕР Анатолий Иванович,
судья Европейского Суда по правам человека (1998–2012), Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Москва, Россия

КОЛОС Денис Георгиевич,
судья Суда Евразийского экономического союза, Минск, Беларусь

КОНГ Киньянг,
Китайский университет политической науки и права, Пекин, Китайская народная республика

МАРОЧКИН Сергей Юрьевич,
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

МАХАНТА Упасана,
Глобальный университет им. О. П. Жиндала, Сонипат, Индия

МЮЛЛЕРСОН Рейн,
президент Института международного права (2013–2015), профессор
Таллинн, Эстония

РУСИНОВА Вера Николаевна,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

САФАРОВ Низами Абдулла оглу,
депутат Национального Собрания Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан

СОКОЛОВА Наталья Александровна,
МГЮА им. О. Е. Кутафина, Москва, Россия

ТОЛСТЫХ Владислав Леонидович,
МГИМО (У) МИД России, Институт востоковедения РАН

ЭНТИН Марк Львович,
МГИМО (У) МИД РФ, Москва, Россия

Адрес редакции: 109028 Москва, Б. Трехсвятительский пер, 3, кабинет 227.
Тел.: +7 (495) 772-95-90 (23066); e-mail: lawjournal@hse.ru
https://jil.hse.ru

Позиция редакции может не совпадать с позицией авторов.

© НИУ ВШЭ, 2026

Журнал ВШЭ по международному праву
HSE University Journal of International Law

Founder: National Research University Higher School of Economics.
Electronic scientific journal. Published since 2023. Frequency: 4 times a year. eISSN: 2949-5717.

Editorial Team

Vera N. RUSINOVA,
HSE University, Moscow, Russia
EDITOR-IN-CHIEF

Daria S. BOKLAN,
HSE University, Moscow, Russia
DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

Ekaterina A. MARTYNOVA,
HSE University, Moscow, Russia
EXECUTIVE EDITOR

Ekaterina A. ZAKHAROVA,
HSE University, Moscow, Russia
EDITOR

Editorial Board

Roza D. AKSHALOVA,
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Luca BELLI,
Fundação Getulio Vargas (FGV) Law School, Rio de Janeiro, Brazil

Daria S. BOKLAN,
HSE University, Moscow, Russia

Kirill V. ENTIN,
head of the Eurasian sector, Centre for Comprehensive European and International Studies (CCEIS), HSE University, Moscow, Russia

Alexander P. EVSEEV,
Russian State University of Justice, Moscow, Russia

Jędrzej GÓRSKI,
research fellow at the City University of Hong Kong, People's Republic of China

Eduard A. IVANOV,
HSE University, Moscow, Russia

Dmitry V. KRASIKOV,
Chair of International Law Department at Saratov State Academy of Law, Saratov, Russia

Ivana KRSTIC,
the University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Ilya M. LIFSHITS,
the Russian Foreign Trade Academy, Moscow, Russia

Yury S. ROMASHEV,
HSE University, Moscow. Russia

Vera N. RUSINOVA,
HSE University, Moscow, Russia

Alexander M. SOLNTSEV,
RUDN University, Moscow, Russia

Ksenia D. SHESTAKOVA,
St Petersburg University, St Petersburg, Russia

Vladislav V. STARZHENETSKY,
HSE University,Moscow, Russia

Nataliya E. TYURINA,
Kazan Federal University, Kazan, Russia

Editorial Council

Yerbol M. ABAIDELDINOV,
Eurasian National University named after L. N. Gumilyov, Kazakhstan

Adel I. ABDULLIN,
Kazan Federal University, Russia

Daria S. BOKLAN,
HSE University, Russia

Dmitry I. DEDOV,
Judge at the European Court of Human Rights (2013–2022), Moscow State University named after Lomonosov, Russia

Mark V. ENTIN,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Russia

Anatoly Ya. KAPUSTIN,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Russia

Denis G. KOLOS,
Judge at the Court of the Eurasian Economic Union, Belarus

Qingjiang KONG,
China University of Political Science and Law, People's Republic of China

Anatoly I. KOVLER,
Judge at the European Court of Human Rights (1998–2012), the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Russia

Upasana MAHANTA,
O.P. Jindal Global University, India

Sergei Yu. MAROCHKIN,
Head of the Laboratory of International and Comparative Law Studies, State University of Tyumen, Russia

Rein MÜLLERSON,
former President of the Institute of International Law, Professor, Tallinn, Estonia

Vera N. RUSINOVA,
HSE University, Russia

Nizami Abdulla oglu SAFAROV,
Member of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan

Natalia A. SOKOLOVA,
Moscow State Law University named after Kutafin, Russia

Vladislav L. TOSTYKH,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia; Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Science

Natalia Yu. YERPYLEVA,
HSE University, Russia

Editorial address: 109028 Moscow, bld. 3, Trekhsvyatitelsky Lane, office 227.
Tel.: +7 (495) 772-95-90 (23066); e-mail: lawjournal@hse.ru
https://jil.hse.ru

The position of the editors may not coincide with the positions of the authors.
© HSE University, 2026

Содержание / Contents

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ / TOPICAL ISSUES

T. Tkhamokov / Т. В. Тхамоков

Appellate review in international arbitration / Пересмотр решений по существу в международном арбитраже ENG..... 4

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ / THEORETICAL INQUIRIES

M. A. Аршакян / M. Arshakyan

Вооруженный конфликт как непреодолимая сила, исключающая противоправность нарушения двусторонних инвестиционных договоров / Armed conflict as force majeure precluding wrongfulness for breaches of bilateral investment treaties РУС..... 26

ДИСКУССИЯ / DISCUSSION

А. А. Лунёв, Н. А. Лепёхин / A. Lunev, N. Lepyokhin

Международная защита прав человека в России после выхода из Совета Европы: возможности и пределы альтернативных механизмов / International human rights protection in Russia after leaving the Council of Europe: opportunities and limits of alternative mechanisms РУС..... 62

Р. П. Абрашин / R. Abrashin

Балансируя между прогрессом и регрессом: исполнение решений договорных органов ООН по правам человека в Российской Федерации / Balancing between progress and regress: compliance with the decisions of the UN human rights treaty-based bodies in the Russian Federation РУС..... 86

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / INTERDISCIPLINARY RESEARCHES

В. А. Габриелов / V. Gabrielov

Эффективность внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику посредством экономических инструментов: международно-правовой аспект / ESG and finance: the role of economic instruments in implementing international environmental standards in business practices РУС..... 121

ПРАКТИКА / PRAXIS

D. R. Di Bella / Д. Р. ди Белла

Remedies for non-EU Geographical Indication applicants and the ensuing responsibilities of EU institutions and Member States / Правовые средства защиты, доступные заявителям на регистрацию географических указаний из государств, не являющихся членами ЕС, и связанные с этим обязательства институтов Европейского союза и государств-членов ENG..... 152

Научная статья / Research Article
https://doi.org/10.17323/jil.2026.39140

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ | CRITICAL ISSUES

Appellate review in international arbitration

T. Tkhamokov

Dyakin, Gortsunyan & Partners Advocates Bureau, Moscow, Russia
TTkhamokov@dgpartners.legal
ORCID: 0009-0003-3772-4328

Abstract

This paper provides an analysis of a relatively uncommon mechanism in international arbitration — appellate review of arbitral awards. Statistically and in practice, the possibility of reviewing an arbitral award on the merits is generally excluded and unwelcome. Exceptions exist, but their limited significance does not alter the overall perception. What remains lacking is the reasoning: why has the idea of appeals in arbitration never been viewed positively, and why does the current state of affairs persist? Perhaps the idea merits reconsideration, as appellate review mechanisms may now serve contemporary needs of arbitration users. With this in mind, the paper is structured as follows. First, it examines the historical roots of the assumption that appellate review in international arbitration is inherently unnatural, illustrated through a study of Roman arbitration to assess whether these reasons are outdated or still relevant. Second, based on this retrospective, it analyzes the modern perception of appealing an award on the merits, referring to contemporary examples such as the UK Arbitration Act 1996, the arbitration and appeal rules of the Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Limited (FOSFA) and the Grain and Feed Trade Association (GAFTA) (Nos. 125), the Optional Appellate Arbitration Rules of the American Arbitration Association, and the potential reform of investor-State dispute settlement under UNCITRAL Working Group III including an appeal mechanism. Finally, the author offers practical considerations for implementing such a mechanism and its present necessity.

Key words: international arbitration, appeals in arbitration, appellate review, appeals on the merits, appeal mechanisms, challenges to arbitral awards

Citation: Tkhamokov T. Appellate review in international arbitration. *HSE University Journal of International Law.* 2026. Vol. 4(1). P. 4–25.

Timur V. Tkhamokov — junior associate.

Пересмотр решений по существу в международном арбитраже

Т. В. Тхамоков

Адвокатское бюро «Дякин, Горцунян и партнеры», Москва, Россия
TTkhamokov@dgpartners.legal
ORCID: 0009-0003-3772-4328

Аннотация

В настоящей статье представлен анализ относительно редкого для международного арбитража механизма — апелляционного пересмотра арбитражных решений. С практической и статистической точек зрения возможность пересмотра арбитражного решения по существу традиционно не приветствуется и остается скорее исключением, чем правилом. Тем не менее наличие отдельных примеров не меняет общего восприятия данного института. Остается открытым вопрос о том, почему идея апелляции в арбитраже никогда не рассматривалась позитивно и почему сохраняется сложившееся положение вещей. Возможно, данная идея заслуживает переосмысления, поскольку механизмы апелляции могут отвечать современным потребностям как бизнеса, так и государств. С учетом этого статья структурирована следующим образом. Во-первых, исследуются исторические корни предположения о том, что апелляционный пересмотр несовместим с природой международного арбитража; чтобы оценить, устарели ли эти причины или они все еще актуальны, автор обращается к римскому арбитражу. Во-вторых, на основе этого ретроспективного анализа рассматривается современное восприятие апелляционного обжалования решения по существу со ссылкой на Закон Великобритании об арбитраже 1996 года, Правила арбитража и апелляции FOSFA (Федерации ассоциаций по маслам, семенам и жирам), Арбитражные правила GAFTA (Ассоциации торговли зерном и кормами) № 125, Факультативные правила апелляционного арбитража AAA (Американской арбитражной ассоциации), а также возможная реформа системы разрешения инвестиционных споров между государствами и инвесторами, обсуждаемая Рабочей группой III ЮНСИТРАЛ, включающая механизм апелляции. В заключение автор излагает практические соображения относительно внедрения механизма апелляционного пересмотра и его востребованности на современном этапе развития международного арбитража.

Ключевые слова: международный арбитраж, апелляция в арбитраже, апелляционный пересмотр, пересмотр по существу, апелляционные механизмы, оспаривание арбитражных решений

Для цитирования: Тхамоков Т. В. Пересмотр решений по существу в международном арбитраже. *Журнал ВШЭ по международному праву / HSE University Journal of International Law.* 2026. Т. 4. № 1. С. 4–25.

Тимур Владиславович Тхамоков — младший юрист.

Introduction

At first, the idea of appellate review in international arbitration feels instinctively bizarre, as it seems to oppose the very nature of arbitration (one of whose key principles is the finality of arbitral awards), a perception often held subconsciously and without much rationale.

This is precisely what has prompted this paper. In long-standing systems, certain aspects (or their absence) are often generally and intuitively accepted as a given. Yet such customs, driven primarily by historically based silent acceptance without conscious reasoning, can sometimes negatively affect a developing system. It may be that something was considered unacceptable due to specific features of the past that no longer exist, as the system has since transformed. If something appears plainly contrary to logic, it may be reasonable to examine its origins. Such an examination may reveal whether valid and still relevant reasons underlie that perception, or whether it is an outdated view that prevents the adoption of a useful feature applicable today.

The same applies to the present topic. Accordingly, this paper addresses the following questions: why is appellate review in international arbitration so rare; why is the principle of finality of arbitral awards a generally accepted idea; what are the modern examples of appellate review mechanisms in international arbitration; whether internal appeal mechanisms can be considered preferable to judicial ones, and why; and how such a mechanism can be implemented in practice?

This work is concerned primarily with international commercial arbitration (not investment arbitration), except in the discussion of the possible reform of investor-State dispute settlement set out below. Accordingly, unless indicated otherwise, references in this paper to ‘arbitration’ are to international commercial arbitration.

1. Origins of the general lack of appeal and their relevance today

Today, hardly anyone questions that the finality of arbitral awards is one of the key features of arbitration as a dispute resolution mechanism. In most cases, the losing party has no available mechanism to challenge the award on the merits. The award may typically be corrected, prevented from enforcement, or annulled, but not appealed. This absence of appeal mechanisms is generally accepted and is frequently presented by counsel as an important advantage of arbitration over litigation.

It is therefore unsurprising that one of the first things a reader encounters when consulting the relevant treatise is the description of the finality principle as foundational to arbitration (Born, 2021, § 1.02[B][5]; Blackaby, 2022,

para. 1.128; Rowley et al., 2021, p. 38, 46; Turner, 2008, para. 1.3.2.4). For instance, in the renowned *Comparative International Commercial Arbitration*, it is observed that:

> One stop dispute resolution is an advantage of arbitration… For this reason, while it should be *self evident and implied* in the arbitration agreement, arbitration clauses frequently contain the words 'finally settled' or 'resolved' by arbitration (emphasis added) (Lew et. al, 2003, para. 8–18).

In the *Redfern and Hunter on International Arbitration*, the authors also note that "[o]ne of the advantages of arbitration is that it is intended to result in the final determination of the dispute," and "[b]y choosing arbitration, the parties choose, in principle, finality" (p. Blackaby et al., 2022, para. 10.02).

Appeals on the merits are commonly described as something exceptional and, ultimately, undesirable (Platt, 2013, p. 532; Rowley, 2021, p. 29). For instance, in this context, Professor J. Paulsson argues that "the idea of appeal seems daunting—perhaps because it has never been a part of the mainstream of arbitration, and never the object of serious and sustained discussion" (2013, p. 292). Others point to the "*customary* absence of available appeal mechanism in arbitration" (emphasis added) (Zamir & Segal, 2019, p. 79).

But why has the idea of appeal never become part of the mainstream of arbitration? Why is finality considered an advantage of arbitration? Why, when one shifts from litigation to arbitration, do appeals on the merits automatically become untenable? Why is it not the case, as Paulsson suggests, that "[t]*o* give a sole arbitrator, or a single tribunal, the power to make a final and unreviewable decision may be a frightening thing" (Paulsson, 2013, p. 291)?

It might come as a surprise that most passages in the literature dedicated to the finality principle are filled with conclusions rather than reasons. Many authors rely solely on dogmas and axioms, each of which is presented as self-evident to the reader (Rowley et al., 2021, p. 21). Even in the introductory sections of a treatise, it is taken for granted that the dictionary meaning of arbitration necessarily encompasses finality, and that this finality includes the lack of appeals on the merits. As aptly noted in the relevant piece authored by N. Zamir and P. Segal, "the concept that arbitration finalizes the conflict because a party who consciously consents to arbitration 'had only himself to blame' ignores the cognitive dissonance of such consent and is contra productive to justice through arbitration… the argument of caveat emptor, or in other words, because the parties chose arbitration, they must accept that there is no appeal is *circular*" (emphasis added) (Zamir & Segal, 2019, pp. 84–85). This passage duly reflects the majority of these discussions.

However, on rare occasions, the reader may encounter observations that genuinely seek to explain why the lack of appeals on the merits is a cornerstone of arbitration.

The first major argument is that the exclusion of appeals increases the effectiveness of arbitration in terms of both time and costs. In this regard, Andrew P. Tuck, who has authored a notable piece on the finality principle, suggests that "[t]he initiation of an appellate process in the rendering state also jeopardizes speedy enforcement of the award elsewhere" (Tuck, 2008, p. 1). Similarly, Professor G. Born remarks that "[d]ispensing with appellate review significantly reduces both litigation costs and delays," (Born, 2021, § 1.02[B][5]) which is supported by *Redfern and Hunter on International Arbitration*, a more critical observation that "the appeal process may be used simply to postpone the day on which payment is due, so that one of the main purposes of international arbitration—the speedy resolution of disputes—is defeated" can be found (Blackaby et al., 2022, para. 10.67; Thirgood, 2021, paras. 27–29).

Prima facie, this appears reasonable. Although efficiency has been one of arbitration's most advertised features (or at least goals), there are growing concerns among practitioners in this regard. This can be observed in the arbitration surveys conducted by Queen Mary University of London over the past 20 years, which show that as arbitration becomes increasingly costly and time-consuming, parties are striving to optimise it.[1] As early as 2015, costs were ranked first among the three worst characteristics of international arbitration,[2] and survey data suggest that this remained the case in 2018.[3] Thus, it may seem a plausible justification that the need to increase arbitration's efficiency conflicts with the additional time and costs that an appellate procedure necessarily entails (Thirgood, 2021, para. 29).[4]

Yet this argument does not withstand scrutiny. It is for the parties, with their specific demands in a specific case, to decide how and to what extent they wish to optimise the time and costs of their arbitral process. In a given case, they may prefer correctness over the absence of appeals. Not every arbitration user wishes to sacrifice the only possible remedy to challenge an award on the merits for the sake of efficiency. Time and costs are not definitive, universal, or self-contained factors. Party autonomy is paramount and lies at the very nature

---

1 See, e.g., Queen Mary University of London & White & Case. (2006, January 1). *QMUL 2006 international arbitration study: Corporate attitudes and practices*, p. 15.

2 Idem. (2015, October 7). *QMUL 2015 international arbitration survey: Improvements and innovations in international arbitration*, p. 7.

3 Idem. (2018, January 1). *QMUL 2018 international arbitration survey: The evolution of international arbitration*, p. 18.

4 See also *Contemporary problems in international arbitration*, suggesting that "*parties preferring arbitration to litigation expect at least formality of the settlement of their dispute and avoidance of costly and lengthy appellate proceedings*" (Lew, 1987, p. 230).

of arbitration. If the parties so agree, they may opt into the expedited arbitration rules now offered by the vast majority of leading arbitral institutions. Similarly, if they so wish, they may refrain from any cost-reducing mechanisms, hold two-week in-person hearings, submit numerous expert and witness statements, object to each procedural order, and ultimately appeal the award on the merits, regardless of the time and costs involved. Presumably, in small-claims arbitration disputes, particularly those that arise systematically and follow the same legal pattern (e.g., insurance disputes), it is more commercially viable for a party to prioritise finality and efficiency, as the margin of error is tolerable. The situation differs, however, in high-stakes disputes that last for years and may have a substantial, or even existential, impact on the losing party. These are only examples; each case remains individual, and appeals are conceivable even in low-value arbitrations. As demonstrated below in section *Appellate Review Mechanisms Today*, there is indeed a noticeable overall demand for appeals. Moreover, arbitral awards are subject to annulment, and their enforcement may be refused by competent national courts. Needless to say, these procedures are similarly not free of charge for the parties. Yet they exist, parties commonly make use of them, and no one seems to doubt their necessity. Moreover, countless other dilatory tactics can be exploited by those wishing to delay proceedings and inflate costs. Appellate review can hardly be seen as a mechanism that significantly jeopardises arbitration's efficiency. Its potential benefits outweigh such hypothetical effects. In the end, an appeal procedure may convince the losing party to refrain from engaging in a similar battle at the enforcement or annulment stages, or even make that party more inclined to comply with the award voluntarily (Zamir & Segal, 2019, p. 85); this will, in turn, reduce costs. With that said, the customary absence of merits appeals cannot be justified by the need for efficiency. The parties are able to decide for themselves to what extent their arbitration procedure should be efficient, if at all. This remains true even if, in practice, only a minority favours appeals on the merits. Still, this considerable minority exists,[5] and it is no different from, for instance, the minority that opts into expedited procedure rules. No general rule explaining the roots of the lack of appeals can be found here.

The second common argument is that the lack of appeals safeguards arbitration from unnecessary judicialisation and limits national courts' intervention in arbitration (Platt, 2013, p. 532; Murray et al., 2012, para. 23–005). Judicial review on the merits is generally considered highly

[5] The arbitration survey conducted by the Queen Mary University of London in 2015 revealed that 23% of the respondents favoured the inclusion of appeal mechanisms in international commercial arbitration. See: Queen Mary University of London & White & Case, 2015, p. 8.

undesirable and impermissible (for example, in enforcement proceedings) (Lew et al., 2003, para. 25–33). Thus, Professor J. Lew notes that "[t]he question may justly be asked whether such an interference is compatible with the declared intention of the parties to have their dispute settled by private judges chosen by them, ie, the arbitrators" (Lew, 1987, p. 235). R. Thirgood (2021), in his notable piece criticising the inclusion of appeal mechanisms, suggests that "unhelpful complications arise when one attempts to merge the two processes by allowing for judicial appeals in an otherwise private dispute resolution process"; Thirgood further advances other arguments, such as that judicial review jeopardises the privacy and confidentiality of arbitration (as court proceedings are public) (paras. 30–32; Murray et al., 2012, para. 23–005), undermines party autonomy by subjecting the chosen arbitrator's award to the view of a non-chosen judge (Thirgood, 2021, paras. 36, 62), and that judges have a different primary duty (to serve their jurisdiction rather than the parties) (Thirgood, 2021, paras. 33, 36) and may lack the necessary expertise and experience to address industry-specific legal issues (Thirgood, 2021, paras. 33, 36). Lew also argues that "[p]arties do not wish to be tied up in the national courts on appeal to challenge the arbitrators' conclusions" (Lew et al., 2003, para. 8–18). In his earlier significant piece, Lew (1987) similarly observes that "[t]he admission of judicial review on the merits is, of course, a *subordination* of arbitral proceedings to court proceedings and an interference with the finality of the arbitral process" (emphasis added) (p. 235).

It is difficult to disagree with these objections. If the parties have resorted to arbitration, any possible judicial review on the merits should be strictly limited (for example, to public policy considerations within enforcement proceedings). The last thing a party intended when expressing its consent to arbitrate is to litigate.

However, this line of argument is based on a false presumption that only judicial appeals are available. As discussed in detail below, there is a second, and preferable, option: internal appeal mechanisms. These allow parties to avoid judicial review on the merits while respecting their intent to arbitrate rather than litigate. The parties remain within the private dispute resolution realm, appoint their own arbitrators with the required expertise, and preserve confidentiality. Hence, this argument likewise cannot justify the general lack of appeal in arbitration.

The third argument, as Tuck (2008) put it, is that "[r]ights of appeal and review in a jurisdiction can seriously frustrate the advantages of international arbitration--predictability and neutrality as a forum…" (p. 12). Although this is not the most common or strongest argument, other prominent authors have also noted it (Blackaby et al., 2022, para. 1.128; Zamir & Segal, 2019, p. 92).

Such recourse to predictability is not persuasive. Arbitral awards may be annulled on essentially unpredictable, non-neutral public policy grounds by the courts in the seat of arbitration, rendering them nearly unenforceable in all other jurisdictions under Article V(1)(e) of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (hereinafter — the New York Convention).[6] It is highly unlikely that the inclusion of appeal mechanisms would measurably affect predictability in these circumstances. Moreover, it is reasonable to suggest that what some parties anticipate is a correct decision on the law, rather than an incorrect but final award that cannot be amended in any way or by any means. Predictability in this context appears as a self-contained and unjustified goal. Furthermore, if the parties have agreed in their arbitration clause on a right to appeal, then lodging such an appeal is by definition predictable. For these reasons, this argument is also flawed.

The fourth argument is that, simply, "the majority of [arbitration] users do not want appeals" (Thirgood, 2021, para. 26). Various scholars suggest that such mechanisms are simply unpopular among the parties and would not be welcomed by them (Platt, 2013, pp. 531–532; Lew, 1987, p. 237; Blackaby et al., 2022, para. 10.67; Born, 2021, § 1.02[B][5]). Reference shall be made to the notable 2006 arbitration survey conducted by the Queen Mary University of London, revealing that 91% of the respondents favour the finality and would not welcome appeal mechanisms on the merits, since "[t]he ability to appeal is seen as a disadvantage because it makes arbitration more cumbersome and litigation-like and essentially negates a key attribute of the arbitral process".[7]

This is merely a statistical observation. It reflects an outcome rather than the underlying reasons. Similarly, people did not welcome electricity when it was first introduced for public use; they were afraid of it, and statistically the overwhelming majority would have preferred to refrain from using it. In such circumstances, it is necessary first to acquaint people with a neglected and unpopular concept, rather than merely noting its unpopularity. Moreover, the dynamics are noteworthy: in the 2015 survey, only 77% were against appeals in commercial arbitration.[8] In any event, at this stage it is the author's view that arbitration users are not properly informed of the potential advantages, benefits, and implications of appeal mechanisms. This is presumably due to the ongoing silent acceptance of the current state of affairs. Statistics are therefore not reliable for this discussion (though the trend may be telling). Still less can such statistics, being a post factum mechanism, explain the true reasons for the

---

6 Article V(1)(e) provides that recognition and enforcement of the award may be refused if the award has been set aside.

7 Queen Mary University of London & White & Case, 2006, p. 15.

8 Idem, 2015, p. 8.

general lack of appeal mechanisms in arbitration. To argue that the lack of appeal mechanisms is due to arbitration users not desiring them is circular. There must be a reason *why* that is the case.

The fifth argument, not encountered in the literature but considered by the author, is as follows. The subtle rationale behind the non-appeal approach to arbitration may be that its procedural framework and practical treatment already presume the highest degree of scrutiny (the parties' ability to discuss and object to every minor procedural issue as the arbitration proceeds), expertise (the parties' appointment of sector-specific arbitrators with the required knowledge, political background, and experience), flexibility (the parties' ability to tailor the procedure to their needs both before and after the arbitration has commenced), and credibility (the parties' personal trust in the chosen arbitrators as their representatives on the panel and the arbitrators' personal investment in the process). In other words, such features intrinsic to arbitration leave little room for appeal, far less than in litigation, thus rendering appeal mechanisms superfluous.

Yet if this were true, there would be no enforcement or setting-aside proceedings in relation to arbitral awards. Moreover, as demonstrated in the section *Appellate Review Mechanisms Today*, such mechanisms do exist in principle. This view appears too idealistic, as it is quite doubtful that losing parties generally accept their fate.

A more reliable explanation, surprisingly enough, can be found in the history of Roman arbitration. In this regard, Professor Milotić[9] (2013) has authored a remarkable piece providing an exhaustive analysis of the exclusion of appeals in Roman law arbitration (pp. 241–248).

Professor Milotić (2013) begins by observing that the principle of finality of arbitral awards crystallised in Roman law as early as 530–533 AD (more than 1,400 years ago) in the 8th title of the 4th book of Justinian's Digest (p. 1). The general principle of arbitration in Roman law initially presupposed that an arbitration agreement led to final dispute resolution (*ad finiendas lites*) and that arbitral awards were final, binding, and incontestable (Milotić, 2013, p. 1). In other words, by signing an arbitration agreement, the parties already "*gave their consent to whatever an arbiter might render…* they explicitly declared in advance (ex ante) that they would be bound by the arbitral award and expressed their promise not to contest it once it was rendered" (emphasis added) (Milotić, 2013, p. 1). Appeals on the merits were clearly excluded at that time (Milotić, 2013, p. 2). The two-sided dilemma was the same as it persists today — "comprehensive pursuit for truth on one side and efficiency and legal

[9] Notably, Professor Milotić is also the head of the Institute for Roman Law and Legal History of the Faculty of Law of the University of Zagreb (Croatia).

certainty on the other" (Milotić, 2013, p. 2). It may appear striking, but in the Roman tradition of arbitration "the exclusion of appeals was a long term, intentional and consistent policy" (Milotić, 2013, p. 6).

Professor Milotić (2013) further notes that "exclusion of appeals was a direct consequence of the arbitral agreement by which [the parties] assumed the risk on the result of the arbitration they had previously voluntarily arranged" (p. 3). Here, a reasonable question arose in Ulpian's text documents — what if the award is nevertheless incorrect? Yet, the answer remained:

> The award cannot be contested in such cases because by arranging compromissum [arbitral agreement] and selecting an arbiter both parties accepted this risk, i.e. they agreed to whatever an arbiter might render, *even when it is evidently wrong*… The disputing parties were bound by [the] award regardless whether it was just or not… Their personal perceptions on justice or injustice of the award were entirely irrelevant (emphasis added) (Milotić, 2013, p. 3–4).

Despite the considerable interest these observations spark, they remain conclusions rather than reasons. The idea that, by signing an arbitration agreement, the parties "*gave their consent to whatever an arbiter might render*" (Milotić, 2013, p. 3) is a circular argument (Zamir & Segal, 2019, p. 85). It does not explain why arbitration was initially regarded as a one-stop dispute resolution procedure excluding appeals.

However, Professor Milotić subsequently offers more specific *reasons* for exclusion of appeals. Institutional arbitration was unknown to Roman law. No permanent arbitral tribunals or permanent arbitration courts existed at the time. Every arbitral tribunal was established *ad hoc* (Milotić, 2013, p. 6). Hence the purely technical issue — "there was no arbitral tribunal that had anything to do with the case which was once decided" (Milotić, 2013, p. 6). Appellate mechanisms were simply inoperative from a logistics perspective.

The second important conclusion is that the exclusion of appeals served to protect the arbitrator's dignity (Milotić, 2013, p. 9). His authority and reputation in the local community "were the only means of exerting social pressure for its obeisance and execution" (Milotić, 2013, p. 9). It logically follows that appeals are likely to jeopardise the arbitrator's authority (i.e., the assumption that the award may be overturned). This hierarchical approach, which appeals mechanisms entailed, made them inappropriate in such a system of values.

This retrospective allows for a broader, more meaningful perspective on the issue. First, the existence of appeal mechanisms would have undermined the system's integrity, as the parties would have lost faith in the arbitrator (whose reputation primarily ensured compliance with the award) and thus in arbitration as a whole. Second, even if appeals had been politically permissible, they were

technically impossible — Roman arbitration was purely *ad hoc* in nature, and thus there were no appellate bodies that could review an appeal.

However, these points are not relevant today. As to the first: arbitrators' reputation is no longer the main (or even a secondary) factor ensuring compliance with arbitral awards. The sense of a 'local community' that was pertinent to the Roman arbitration setting has long disappeared. Globalisation and the New York Convention have substantially changed the rules of the game. As to the second: such a technical issue obviously no longer exists. Institutional arbitration is prevalent, and there is no longer a logistical problem in establishing an internal appellate panel.

Nevertheless, this valuable historical insight prompted the author's own reflections on the issue. The main idea to be extracted from this analysis and the previously examined (flawed) modern arguments is that the underlying rationale for the general exclusion of appeals is highly likely rooted in a historically formed subconscious perception, not easily visible on the practical surface. The following critical explanation is therefore suggested.

The discussion of appeals in arbitration almost always implies a comparison with litigation, where such recourse mechanisms are ordinary and traditional. Even in the already cited 2006 arbitration survey, respondents who opposed the inclusion of appeals were concerned that it would make arbitration more "litigation-like".[10] Yet the possible rationale behind judicial and arbitral appeals is politically different, and this difference will assist the analysis. In judicial appeals, the sovereign is interested; in arbitral appeals, the parties are interested. Specifically, in national judicial systems, appeals serve to ensure that the sovereign maintains uniformity and legal certainty in law enforcement and application within its jurisdiction. Courts are the sovereign's voices. Those voices are numerous and not always alike; their coordination must be controlled to ultimately maintain the rule of law, which benefits society as a whole. In arbitration, the only entities genuinely interested in the legal outcome of the dispute and the application of the law therein are the parties.[11] There is no similar objective pursued by parties or arbitrators (such as uniform interpretation and application of the law in arbitration disputes) at least not with comparable significance and mandatory nature. Their interest extends only to the resolution of the dispute. By choosing arbitration, the parties have already detached themselves from a given jurisdiction in terms of promoting that sovereign's political interests throughout their dispute. They do not wish to contribute to the

[10] Queen Mary University of London & White & Case, 2006, p. 15.

[11] The author acknowledges that the sovereign may be interested in the legal effect that an arbitral award may have in its jurisdiction through the prism of public policy, but in this context it is irrelevant and has been omitted for the sake of clarity.

rule of law sustained by the sovereign in that jurisdiction, nor will they. In the end, arbitration is commonly a confidential affair; the outside world may never know how the law was interpreted in an arbitral award. Therefore, from this perspective, appeals in arbitration are feasible only if the parties themselves are interested in them. The parties may not wish to accept the risk of obtaining an erroneous award, and they may wish to avoid depriving themselves of any possible remedies in this respect. The parties may want to have a “right to a second shot if the first shot has misfired” (Lew, 1987, p. 235). There are no reasons not to respect this right. The right to appeal here is merely an additional optional mechanism, consistent with arbitration’s flexible nature, similar to the parties’ right to decide on the number of arbitrators, to prefer virtual hearings, or to determine whether the award should be reasoned. In litigation, there is no such choice. As observed above, the sovereign mandates the existence of that right because it helps maintain the rule of law. Arbitration, by contrast, makes it optional. The parties may choose whether they wish to have the right to appeal arbitral awards. They may prefer the latter, favouring speedy resolution and accepting the risk of an erroneous award, or they may choose the opposite. In either case, this is a pragmatic choice made by the parties based on their commercial interests. The only connection with judicial appeals here is the mere fact that the mechanism was introduced by sovereigns in judicial systems. Yet what arbitration users borrow is a plain concept, a tool, embodied in appeal mechanisms, which allows them to object to a potentially erroneous award.

Thus, it may be the case that the traditional exclusion of appeals in arbitration was due to certain historical factors. Those factors further formed a custom that then began to live its own life, becoming a self-contained and not particularly reasonable rule that persists today. Whether the rationale behind this custom also persists today is doubtful.

These observations conclude the discussion on the origins of the general lack of appeals on the merits in arbitration. It appears that today there are neither theoretical (critical) nor practical considerations that can justify the overall exclusion of appeals in arbitration. As demonstrated above, there were initial reasons explaining the customary absence of appeals in arbitration. Moreover, it is true that, statistically, the majority of arbitration users do not welcome the inclusion of such a mechanism. However, no obstacles were found to developing this notion further so that it may serve the interests of those who find it viable, even if they are in the minority — which is no different, for example, from the minority that resorts to expedited arbitration procedures, the usefulness of which is not disputed today.

2. Appellate review mechanisms today

This section offers a brief overview of the contemporary perception of appellate review mechanisms in arbitration and provides specific examples. To begin, we refer again to the statistics. The dynamics are noteworthy in the context of this discussion.

In 2015, 18% of respondents chose finality as one of the most valuable features of arbitration;[12] in 2018, only 16% did so.[13] Similarly, in 2006, 91% of respondents would not have welcomed appeal mechanisms on the merits;[14] in 2015, only 77% remained of the same view.[15] Moreover, in that same year, 17% of arbitration users identified the lack of appeal mechanisms as among the three worst characteristics of international arbitration.[16] While no updated statistical data has been published in recent years, it may nevertheless be reasonably inferred that appeal mechanisms are gaining traction, particularly against the backdrop of ongoing geopolitical turbulence, which triggers an overall demand for additional layers of review.[17] The inference is straightforward: general attitudes towards appeal mechanisms are becoming more tolerant, even if only a minority still welcomes the inclusion of appeals in arbitration.

Another indicator supporting this is the existence of appellate review mechanisms in relation to arbitration provided by respected jurisdictions or arbitration centres.

Here, the UK Arbitration Act 1996 (hereinafter — AA 1996) constitutes a notable exception among other jurisdictions, as it expressly provides for appeals on the merits in arbitration. Section 69 of the AA 1996 stipulates that a party to arbitral proceedings may appeal to the court on a question of law arising out of an award made in the proceedings, unless the parties have agreed otherwise.[18] Upon review of the award, the court may confirm it, vary it, remit it to the tribunal for reconsideration (a process known as *remission* in arbitration), or set it aside. An appeal may be brought only with the agreement of all other parties to the arbitral proceedings or, in the absence of such agreement, with the leave of the court.[19] This may fairly be regarded as a significant degree of court intervention not generally welcomed in the arbitration community. Scholars suggest that such a feature is disadvantageous for the United Kingdom as a popular arbitration hub (Platt, 2013, 541; Harris, B., et al., 2007, para. 69C). Nevertheless, London

12 Queen Mary University of London & White & Case, 2015.
13 Idem, 2018, p. 7.
14 Ibid, p. 15.
15 Ibid, p. 8.
16 Ibid, p. 7.
17 See, e.g., observations below concerning the possible reform of investor-State dispute settlement.
18 *Arbitration Act 1996*, c. 23, Section 69(1) (UK). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23.
19 Ibid, Section 69(2).

traditionally remains the most preferred seat of arbitration globally.[20] In the *Report on the Right of Appeal against International Arbitration Awards on Questions of Law*, prepared by the Singapore Academy of Law in 2020, it was also aptly highlighted that "[w]hile the UK's recognition of the right of appeal against international arbitration awards on questions of law is an outlier amongst popular seats of arbitration, this does not appear to have diminished the attractiveness of the UK as a seat of arbitration".[21] Interestingly, this comparative observation was among the grounds relied upon by the authors to justify that the proposed inclusion of a right of appeal against arbitral awards on the merits in the Singaporean Arbitration Act would not affect Singapore's popularity as a seat of arbitration.[22]

In any event, the reason why it does not substantially affect London's leading position as a seat of arbitration may be that the right of appeal is strictly limited both by the statute and by the courts. First, the relevant section 69 of the AA 1996 is non-mandatory (Harris et al., 2007, para. 69A).[23] The default right to appeal can be waived by virtue of the parties' agreement (an opt-out mechanism). Moreover, where they agreed to arbitration under, for instance, ICC or LCIA rules, which contain an explicit waiver of any form of judicial review of arbitral awards,[24] the parties are also deemed to have agreed, in the meaning of s. 69(1) of the AA 1996, to exclude their right to appeal (Harris et al. (2007), paras. 69D, 69V). Second, in the absence of such a waiver, an appellant must still obtain permission to appeal, either by the agreement of the other parties to the arbitration or by the leave of the court (section 69(2) of the AA 1996). The threshold for the latter option is high. The courts carefully scrutinise such requests and rarely grant leave to proceed with an appeal (Harris et al., 2007, paras. 69C, 69E; Murray et al., 2012, para. 23–024). As observed by J. Rowley (2021), "[i]n practice, few applications make it 'over the leave requirement which has been designed to catch all but the most meritorious appeals'" (p. 88). Out of 22 applications for leave to appeal made in 2019–2020, only seven were granted by the English courts (Rowley et al., 2021, p. 29). Thus, the UK offers a balanced approach: while the right to appeal against arbitral awards is permitted in principle, it is strictly limited.

---

[20] Queen Mary University of London & White & Case. (2025, January 1). *QMUL 2025 international arbitration survey: The path forward: Realities and opportunities in arbitration*, p. 7.

[21] Singapore Academy of Law (Law Reform Committee) et al. (2020, February 1). *Report on the right of appeal against international arbitration awards on questions of law*, para. 2.6. https://www.nlb.gov.sg/main/book-detail?cmsuuid=44639bc9-a08d-4479-bf2f-77775d82e0d9.

[22] Singapore Academy of Law (Law Reform Committee) et al. (2020), paras. 2.21–2.22.

[23] *Arbitration Act 1996*, c. 23, Section 4(2) (UK).

[24] Article 26.8 of the 2020 Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration (LCIA) provides that "*the parties also waive irrevocably their right to any form of appeal, review or recourse to any state court or other legal authority, insofar as such waiver shall not be prohibited under any applicable law*."

Another example consists of modern internal appellate review mechanisms. The most notable are the Rules of Arbitration and Appeal of the FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Limited) (hereinafter — the FOSFA Rules),[25] the Arbitration Rules of the GAFTA No. 125 (Grain and Feed Trade Association) (hereinafter — the GAFTA Rules),[26] and the Optional Appellate Arbitration Rules of the AAA (American Arbitration Association) (hereinafter — the AAA Appellate Rules).[27] A detailed analysis of these rules is not the purpose of this paper. What is relevant is that all of the mentioned institutions are major arbitration service providers, and 85% of global trade in oils, seeds, and fats is conducted under FOSFA contracts.[28] 80% of the world's trade in grain is shipped under GAFTA contracts.[29] The AAA ranks third in the Caribbean and Latin America region, second in North America, and seventh worldwide among the most popular sets of arbitration rules.[30]

The following features are worth highlighting. Under the FOSFA Rules, no permission to appeal is required;[31] that is, there is no need to obtain separate leave to lodge an appeal, unlike under the AA 1996. A list of arbitrators recognised to sit on a board of appeal exists, with the board comprising five members. Under the FOSFA Rules, these members are always appointed by FOSFA itself, not by the parties.[32] Individuals on the list hold a specific category of FOSFA membership and have agreed to abide by the FOSFA International Code of Practice for Arbitrators. The GAFTA Rules provide a more nuanced approach in this respect: if the initial award was made by a sole arbitrator, the board of appeal will comprise three members; if the award was made by a three-member tribunal, the board will comprise five members.[33] Similarly, only GAFTA appoints the members of the board, who must be listed on the GAFTA Appeal Board.[34] To be included on that board, candidates must pass a specific examination and meet certain requirements: five arbitrations on record (including one as chair), with at least one of those arbitrations having taken place within the preceding 12 months; no adverse feedback on performance as

---

25 FOSFA International. (2025, April 1). *Rules of arbitration and appeal*, art. 7(a). https://www.fosfa.org/wp-content/uploads/2025/04/The-Rules-of-Arbitration-and-Appeal-1-April-2025.pdf.

26 GAFTA. (2025, October 1). *Arbitration rules No. 125*, art. 10.1. https://www.gafta.com/media/pr1nj4iv/125_october_2025.pdf.

27 American Arbitration Association. (2013, November 1). *Optional appellate arbitration rules*. https://www.adr.org/media/1gmnooai/optional-appellate-arbitration-rules.pdf.

28 FOSFA International. (n.d.). *About us*. Retrieved December 3, 2025, from https://www.fosfa.org/about/.

29 GAFTA. (n.d.). *Contracts*. Retrieved December 3, 2025, from https://www.gafta.com/contracts/.

30 Queen Mary University of London & White & Case, 2025, pp. 11–12.

31 FOSFA International (2025), Rule 7(a).

32 Ibid, Rule 8(a).

33 GAFTA (2025), Rule 11.1.

34 Ibid, Rule 11.1.

an arbitrator; and an appropriate Continuing Professional Development (CPD) record for the previous 12 months.[35] Under the GAFTA Rules, the appeal award is final, conclusive, and binding, meaning it cannot be appealed further.[36] Interestingly, in conjunction with Rule 9.4 of the GAFTA Rules, this means that the award only becomes final (unconditionally and within the meaning of Article V(1)(e) of the New York Convention) once the deadline for appealing has passed or the appeal award has been delivered. In arbitrations conducted under the GAFTA Expedited Arbitration Procedure Rules No. 126, there is no right of appeal.[37] While both the FOSFA Rules and the GAFTA Rules provide for a default right of appeal where the parties have agreed to arbitrate under the respective set of rules, appeals under the AAA Appellate Rules are separate and apply only upon agreement of the parties (an opt-in mechanism). The AAA Appellate Rules, as their authors suggest in the introduction section, are useful for those parties who "desire a more comprehensive appeal of an arbitration award within the arbitral process".[38] As to the status of the initial arbitral award, it is notably observed therein that "[u]*pon the filing of a Notice of Appeal […] the Underlying Award shall not be considered final* for purposes of any court actions to modify, enforce, correct, or vacate the Underlying Award" (emphasis added).[39] Similarly, a separate AAA Appellate Panel (as well as an International Appellate Panel for international disputes) exists, and only its members may serve as appellate arbitrators.[40] However, under the AAA Appellate Rules, the parties have the right to appoint their own appeal tribunal.[41] The AAA anticipates that a standard appellate procedure will take approximately three months.[42]

What is also notable is that the GAFTA and FOSFA Rules have been updated to 2025. Although no direct statistics on the popularity of appeal mechanisms exist for recent years (such as the arbitration surveys of Queen Mary University of London), this fact may serve as indirect confirmation of the continued demand for appeal mechanisms in international arbitration.

Notwithstanding the earlier focus on international commercial arbitration, one cannot overlook the highly significant and extremely topical debate on this issue within the field of international investment arbitration. As early as 2017, active discussions on a sweeping 'Investor-State Dispute Settlement Reform' were

---

35 GAFTA. (n.d.). *Appeal board exam*. Retrieved December 3, 2025, from https://www.gafta.com/events-training/gafta-exams/appeal-board-exam/.

36 GAFTA (2025), Rule 2.7.

37 GAFTA. (2025, October 1). *Expedited arbitration procedure rules No. 126*, Rule 1.3. https://www.gafta.com/media/b1rh0r02/126_october_2025.pdf.

38 American Arbitration Association, 2013, 3.

39 Ibid, Rule A-2(a).

40 Ibid, Rule A-4.

41 Ibid, Rule A-5.

42 Ibid, 3.

launched in UNCITRAL Working Group III, beginning with its 34th session in Vienna.[43]

Even then, the Working Group's documents provisionally noted that:

> While the finality of an award is also considered as an element contributing to the efficiency of arbitration, the absence of an appeals mechanism means that incorrect decisions cannot be overturned and so legal correctness cannot be ensured.[44]

Three years later, the introduction of a centralised appellate mechanism as part of the broader Investor-State Dispute Settlement Reform was already being discussed in detail, as illustrated, for example, by the Report of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) on the work of its resumed 38th session (January 2020, Vienna).[45] Among other things, it was noted there that "After discussion, the Working Group agreed to consider further an appellate mechanism in ISDS as one of its possible reform options".[46]

The general idea is to create a permanent appellate court standing above a permanent first-instance court within a unified system for the resolution of investment disputes, complete with its own enforcement mechanisms (in place of the New York Convention).[47] This idea is clearly reflected in the Draft statutes of a permanent first instance tribunal[48] and an appeal tribunal for international investment disputes,[49] presented during the most recent 54th session, held from 23 to 27 March 2026 in Vienna.

It follows from these drafts that, at present, a full appeal on the merits against decisions of the permanent first-instance court is contemplated. The grounds for appeal include, inter alia, an error in the application or interpretation of the law, a manifest error in the assessment of the facts, a serious departure

---

43 United Nations Commission on International Trade Law. (2017). Possible reform of investor-State dispute settlement (ISDS): Note by the Secretariat (A/CN.9/WG.III/WP.142). https://docs.un.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.142.

44 Ibid, para. 40.

45 United Nations Commission on International Trade Law. (2020). Report of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) on the work of its resumed thirty-eighth session (A/CN.9/1004/Add.1). https://docs.un.org/en/A/CN.9/1004/Add.1.

46 Ibid, para. 52.

47 United Nations Commission on International Trade Law. (2025). Possible reform of investor-State dispute settlement (ISDS): Structure and design of a standing mechanism for the resolution of international investment disputes: Note by the Secretariat (A/CN.9/WG.III/WP.256). https://docs.un.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.256.

48 United Nations Commission on International Trade Law. (2026a). Possible reform of investor-State dispute settlement (ISDS): Draft statute of a permanent tribunal for international investment disputes: Note by the Secretariat (A/CN.9/WG.III/WP.259). https://docs.un.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.259.

49 United Nations Commission on International Trade Law. (2026b). Possible reform of investor-State dispute settlement (ISDS): Draft statute of a permanent appellate tribunal for international investment disputes: Note by the Secretariat (A/CN.9/WG.III/WP.260). https://docs.un.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.260.

from a fundamental rule of procedure, and also a lack of impartiality or independence on the part of a member of the first-instance tribunal.[50] Furthermore, according to information known to the author from a member of the Working Group, it is preliminarily proposed that the appellate court comprise a panel of 15 judges elected for a term of nine years. This system of permanent first-instance and appellate courts is intended, as conceived, to become a new prevailing global centralised system for the resolution of international investment disputes. Such a step entails, inter alia, rather interesting issues of international treaty law, including the inter se amendment of the ICSID Convention and the amendment of existing bilateral investment treaties (BITs).[51]

On a side note, it seems logical that such discussions have become even more active in recent years amid the deterioration of the global political climate and the sharp increase in the number of international investment disputes. In particular, the wording of the preamble to the Draft Statute of a Permanent Appellate Tribunal for International Investment Disputes is especially noteworthy: "The Contracting Parties to this Protocol [...] [m]indful of the public interest involved in international investment disputes due to the nature of the parties and the subject matters of the disputes".[52] In the author's view, such interest in the possibility of reviewing decisions on the merits may be driven primarily by host States, which are either already respondents in numerous investment claims or expect to face such claims in the near future. In the permissibility of merits review, such States are likely to see an additional opportunity to protect their public interests.

In any event, for the purposes of the present study, it may be concluded that appellate mechanisms in international arbitration remain relevant, and in the sphere of international investment dispute resolution they stand at the forefront.

This concludes the brief overview of the current state of affairs concerning appeals in arbitration. The analysis demonstrates that such mechanisms exist, at a minimum, and, importantly, are recognised at the level of some of the leading arbitration forums.

3. Practical considerations

Based on the foregoing discussion and the experience of those jurisdictions and arbitration centres that provide for a right of appeal in arbitration, the author offers the following practical considerations for implementing such mechanisms.

First, judicial appeals (as provided, for example, by the AA 1996) are undesirable. Without entering into unnecessary further discussion on this point,

[50] United Nations Commission on International Trade Law (2026b), art. 20.
[51] United Nations Commission on International Trade Law (2025), paras. 33, 42.
[52] United Nations Commission on International Trade Law (2026b), p. 2.

it is hardly disputable that those who agree to arbitrate do not wish to litigate. Enforcement and set-aside proceedings do exist, but they serve different purposes. They constitute a common escape mechanism (clearly embodied in the public policy exception under the New York Convention) that allows the sovereign to prevent unwanted legal effects from occurring within its jurisdiction based on certain policy considerations. This mechanism does not intervene in the merits of the dispute. Courts do not substitute arbitration as a dispute resolution method; they recognise that the dispute has been resolved and is therefore closed to reconsideration on the merits. They decide only whether to allow the legal effect of the resolved dispute to encroach upon their jurisdiction. Otherwise, as already noted, this would lead to "subordination of arbitral proceedings to court proceedings" (Lew, 1987, p. 235). Arbitration is an alternative, not secondary, dispute resolution method to litigation. Various prominent scholars also strongly oppose judicial review of arbitral awards on the merits (Fouchard et al., 1999, para. 1597; Blackaby et al., 2022, para. 10.67; Murray et al., 2012, para. 23–005; Paulsson, 2013, p. 291). Furthermore, internal appeals do not jeopardise the finality principle, unlike *ad hoc* appeals, which may raise enforcement uncertainties. As demonstrated in the previous section, arbitration rules may provide that an award only becomes final (within the meaning of Article V(1)(e) of the New York Convention) when either the deadline for lodging an appeal has expired or the appeal award has been issued. For these reasons, the author suggests developing internal appeal mechanisms rather than judicial ones.

Second, the right to appeal should be based on an opt-in mechanism, meaning it exists only by virtue of a prior agreement between the parties. In this respect, the author disagrees with Zamir and Segal, who suggest an opt-out mechanism (as provided for in the AA 1996) (Zamir & Segal, 2019, p. 87). Given the current unfamiliarity of appeals in arbitration, it is beyond the scope of this paper to prescribe what the parties *should* want. However, it is possible to address what the parties *may* want and to what they should in principle be entitled — namely, the promotion of internal appeal mechanisms that are, in turn, based on an opt-in mechanism.

Third, the author suggests adopting the rule enshrined in the AA 1996 to the extent that it requires permission to appeal. Parties should be allowed to commence an appeal procedure only with the leave of the relevant administrative body of the arbitration centre or, less preferably, the appellate tribunal. This would promote a cautious approach to appeal mechanisms and prevent their abuse for the purpose of postponing enforcement.

Fourth, as is evident from the experience of FOSFA, GAFTA, and the AAA, it is preferable to establish a separate list of permanent appellate arbitrators

eligible for nomination in appeal procedures. This is likely to resolve the political dilemma outlined by Professor Paulsson:

> [Parties] are not looking for a 'second opinion' of equal rank (that would merely lead to demands for further opinions) but for a '*superior*' determination which trumps the decision of the first arbitral tribunal... it is not easy to see how *higher status* for the appellate mechanism can be ensured (emphasis added) (Paulsson, 2013, p. 292).

Indeed, it might be unethical for a party to lodge an appeal and appoint a different arbitrator, thereby implying that the new arbitrator is superior to the first-instance arbitrator. This is particularly true in large-scale disputes, where the parties typically appoint the most qualified professionals in the first place. However, an administratively created list of appellate arbitrators, together with specific institutional requirements, could psychologically shift the responsibility in this regard and make the choice comfortable for the parties. The perception would be different: an appellate arbitrator from the permanent appellate board is chosen not because he or she is more experienced, but solely because the institution imposes its own requirements on this category of arbitrators and, from a technical perspective, such arbitrators are more familiar with conducting appeal procedures. Moreover, this dilemma may also be resolved by expanding the arbitral tribunal (as under the FOSFA and GAFTA Rules), for example, from three to five members, or by vesting the institution with the exclusive right to appoint the appellate panel.

Fifth, it may be viable to conduct the appeal procedure in an expedited manner, that is, to apply rules similar to those governing expedited procedures, such as virtual hearings by default, limited length of written submissions, and short time limits for delivering the appeal award. Nevertheless, it is ultimately for the parties to decide how to tailor this procedure; they may have no interest in reducing costs at all.

Conclusion

In conclusion, despite the general lack of appellate review mechanisms in arbitration, there are no theoretical or practical obstacles preventing them from becoming a more common feature today. The reasons for the customary absence of appeals have long disappeared. Introducing internal appeal mechanisms may benefit all arbitration actors: arbitration institutions (through additional fees for administering appeal procedures), arbitrators (through additional appointments and fees, as well as increased caution when rendering awards), parties (by providing an opportunity to challenge an erroneous award on the merits (an option currently largely absent) thereby strengthening their position in enforcement or set-aside proceedings and promoting voluntary

compliance with the award, as well as encouraging greater tribunal caution), and society as a whole (by reducing the burden on the judicial system for the same reasons). Appeals on the merits in arbitration are akin to eating ramen with a spoon alone: it feels unnatural and culturally improper, yet rationally it is normal and, for some users, more effective. It takes time for such practices to become generally accepted and legitimate. While savouring ramen without chopsticks may never become conventional, the same may well occur with appellate review if it truly serves the needs of arbitration users and is properly designed.

Список литературы / References

1. Blackaby, N. K. C., Partasides, C., & Redfern, A. (2022). *Redfern and Hunter on international arbitration*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780192869906.001.0001
2. Born, G. B. (2021). *International commercial arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International. (Continuously updated online).
3. Fouchard, P., Gaillard, E., Goldman, B., & Savage, J. (1999). *Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration*. Kluwer Law International.
4. Harris, B., Tecks, J., & Planterose, R. (2007). *The Arbitration Act 1996: A commentary* (4th ed.). Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470692073
5. Lew, J. D. M. (Ed.). (1987). *Contemporary problems in international arbitration*. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1156-2
6. Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M., & Kröll, S. (2003). *Comparative international commercial arbitration*. Kluwer Law International B.V.
7. Milotić, I. (2013). Exclusion of appeals against arbitration in Roman law. *Croatian Arbitration Yearbook, 20*, 241–248.
8. Murray, C., Holloway, D., & Timson-Hunt, D. (2012). *Schmitthoff the law and practice of international trade*. Sweet & Maxwell.
9. Paulsson, J. (2013). *The idea of arbitration*. Oxford University Press.
10. Platt, R. (2013). The appeal of appeal mechanisms in international arbitration: Fairness over finality? *Journal of International Arbitration, 30*(5), 531–542.
11. Thirgood, R. (2021). Appeals in arbitration: “To be or not to be”. *Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, 87*(3), 423–440. https://doi.org/10.54648/AMDM2021028
12. Tuck, A. (2008). The finality question: Appellate rights and review of arbitral awards in the Americas (SSRN Scholarly Paper No. 1875771). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=1875771
13. Turner, R. (2008). *Arbitration awards: A practical approach*. https://doi.org/10.1002/9780470759608

14. Zamir, N., & Segal, P. (2019). Appeal in international arbitration—An efficient and affordable arbitral appeal mechanism. *Arbitration International, 35*(1), 79–93. https://doi.org/10.1093/arbint/aiz006

Научная статья / Research Article
https://doi.org/10.17323/jil.2026.39141

Вооруженный конфликт как непреодолимая сила, исключающая противоправность нарушения двусторонних инвестиционных договоров

М. А. Аршакян
Российско-армянский университет, Ереван, Армения
arshakyan.mikayel@gmail.com
ORCID: 0009-0001-8631-9658

Аннотация

Статья посвящена вопросу о том, при каких условиях вооруженный конфликт может квалифицироваться как форс-мажор (фр.: *force majeure*) в смысле статьи 23 Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния и, как следствие, рассматриваться как обстоятельство, исключающее противоправность нарушения двустороннего инвестиционного договора. Актуальность темы обусловлена ростом числа инвестиционных споров, в которых государства стремятся оправдать неисполнение обязательств ссылками на военные действия, внутренние беспорядки и связанные с ними институциональные сбои. В центре анализа — разграничение двух концепций форс-мажора: как обстоятельства, исключающего противоправность (и временно нейтрализующего наступление ответственности за конкретное нарушение), и как фактора, влияющего на содержание стандарта должной осмотрительности при исполнении обязанностей по защите инвестиций. Показано, что смешение этих подходов приводит к ошибкам в квалификации правовых последствий вооруженного конфликта, а также к расширительному и методологически некорректному применению статьи 23. На основе текстуального и системного толкования статьи 23, комментариев Комиссии международного права ООН и анализа арбитражной практики по инвестиционным спорам в исследовании обозначается совокупность условий применимости форс-мажора: наличие непреодолимой силы либо непредвиденного события; неподконтрольность обстоятельства государству; материальная невозможность исполнения конкретного обязательства; отсутствие обусловленности невозможности исполнения поведением государства; отсутствие принятия риска возникновения соответствующей ситуации. Автор приходит к выводу, что вооруженный конфликт не является форс-мажором *ipso facto*: решающим для соответствующей квалификации выступает воздействие конфликта на возможность исполнения определенного обязательства и отсутствие у государства реальной альтернативной модели поведения. Отдельно обосновывается, что военные оговорки о компенсации ущерба (англ.: *war clauses*) не означают автоматического принятия государством риска форс-мажора применительно к нарушениям иных обязательств по договору, если такой отказ не выражен недвусмысленно. Статья предлагает рамку для более строгой и предсказуемой оценки ссылок на форс-мажор в инвестиционных спорах, возникающих на фоне вооруженных конфликтов.

Ключевые слова: форс-мажор, вооруженный конфликт, обстоятельства, исключающие противоправность, ответственность государств, двусторонние инвестиционные договоры, инвестиционный арбитраж, должная осмотрительность, военные оговорки

Для цитирования: Аршакян М. А. Вооруженный конфликт как непреодолимая сила, исключающая противоправность нарушения двусторонних инвестиционных договоров. *Журнал ВШЭ по международному праву / HSE University Journal of International Law.* 2026. Том 4. № 1. С. 26–61.

Микаел Артакович Аршакян — аспирант кафедры международного публичного и европейского права Института права.

Armed conflict as force majeure precluding wrongfulness for breaches of bilateral investment treaties

M. Arshakyan

Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia

arshakyan.mikayel@gmail.com

ORCID: 0009-0001-8631-9658

Abstract

This article examines when armed conflict may qualify as force majeure within the meaning of Article 23 of the International Law Commission's Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts and whether it may consequently operate as a circumstance precluding the wrongfulness of breaches of obligations under bilateral investment treaties (BITs). The question has acquired renewed practical relevance as investment disputes increasingly arise from situations of war, internal unrest, and institutional breakdowns, prompting respondent States to invoke conflict-related impediments to justify their non-performance. The analysis focuses on a critical conceptual distinction that is often blurred in arbitral reasoning and scholarship: force majeure as a circumstance precluding wrongfulness (temporarily neutralising responsibility for a specific breach) versus force majeure as a factor affecting the content and intensity of due diligence obligations owed to foreign investors. The article argues that conflating these two planes leads to methodological errors and to an overexpansive and unpredictable application of Article 23. Drawing on a textual and systemic interpretation of Article 23 and the ILC commentary, complemented by an assessment of relevant investment arbitration practice, the article identifies the cumulative requirements for invoking force majeure: (i) an irresistible force or unforeseen event; (ii) the event being beyond the State's control; (iii) the event rendering performance of the specific obligation materially impossible; (iv) the absence of the State's conduct significantly causing the situation of impossibility; and (v) the absence of an assumed risk with respect to the relevant event. On this basis, the article demonstrates that armed conflict is not force majeure ipso facto: what matters is the conflict's concrete impact on the State's ability to perform the particular treaty obligation and the absence of any real alternative course of conduct. The article further argues that war clauses providing for compensation in the event of armed conflict or civil disturbance do not automatically amount to an assumption of the risk of force majeure for breaches of other treaty obligations, unless such a waiver is expressed unequivocally. The proposed

analytical framework aims to facilitate a stricter and more consistent adjudication of force majeure defences in investment disputes arising in the context of armed conflict.

Key words: force majeure, armed conflict, circumstances precluding wrongfulness, State responsibility, bilateral investment treaties, investment arbitration, due diligence, war clauses

Citation: Arshakyan M. Armed conflict as force majeure precluding wrongfulness for breaches of bilateral investment treaties. *HSE University Journal of International Law*. 2026. Vol. 4. No. 1. P. 26–61.

Mikael A. Arshakyan — post-graduate student, Faculty of Law Department of Public International and European Law, Institute of Law.

Введение

Несмотря на геополитические кризисы, в последние сорок лет в мире наблюдается активное развитие международного сотрудничества в сфере привлечения взаимных инвестиций. Рост инвестиционных потоков обусловливает увеличение числа соглашений, регулирующих эти отношения, и формирование новых подходов к защите инвестиций и предупреждению политических рисков. В то же время, невзирая на императивный международно-правовой запрет применения силы, военные действия все чаще становятся серьезной проблемой при защите интересов инвесторов. Военные конфликты создают неблагоприятные экономические условия для иностранных инвесторов, что, в свою очередь, разбалансирует экономическую конструкцию государства. Именно поэтому обеспечение защиты инвестиций посредством инвестиционных соглашений в период военных действий приобретает важное значение для устойчивого развития экономики страны после завершения конфликта. Однако пределы обязательств, отраженных в таких соглашениях, и возможность их исполнимости остаются предметом широких, востребованных практикой дискуссий: без четкого анализа предоставляемые государствами гарантии защиты могут показаться иностранным инвесторам ненадежными или труднореализуемыми.

Наибольшие сомнения вызывает право инвесторов требовать исполнения обязательств по предоставлению полной защиты и безопасности от государства — участника вооруженного конфликта в свете возможного наступления обстоятельств, исключающих его ответственность за отказ от исполнения таких обязательств. Остаются открытыми многие вопросы о возмещении убытков, причиненных в ходе военных действий государственными вооруженными силами и негосударственными военными образованиями, особенно ввиду изменчивости порога требуемой должной

осмотрительности и исключения ответственности за нарушение договорных обязательств.

В этой статье рассматривается одно из таких обстоятельств — форс-мажор. В частности, анализируются современные подходы к установлению границ применения к инвестиционным договорам форс-мажора, обусловленного вооруженными конфликтами, и рассматриваются элементы, необходимые для возникновения такового. В статье в общем виде описаны возможности, которыми располагает государство при ссылке на форс-мажор, предполагающей исключение ответственности за само деяние на период существования обстоятельства. По этой причине анализ перспектив исполнения обязательств по двусторонним инвестиционным договорам (далее — ДИД) в условиях вооруженных конфликтов требует ответа на основной исследовательский вопрос, поставленный в данной работе: в каких случаях вооруженный конфликт может квалифицироваться как форс-мажорное обстоятельство, исключающее противоправность?

1. Рабочие определения и рамки международно-правовой ответственности и форс-мажора

Согласно проектам статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния (далее — Статьи об ответственности государств), принятым Комиссией международного права ООН (далее — КМП, Комиссия) и одобренные Генеральной Ассамблеей ООН, «каждое международно-противоправное деяние государства влечет за собой международную ответственность этого государства»[1]. Еще в практике Постоянной палаты международного правосудия принцип ответственности был охарактеризован как «принцип международного права и, более того, общеправовой принцип»[2]. Значение данного принципа не преувеличено, так как возможность наступления международно-правовой ответственности удерживает государства на траектории стабильного исполнения принятых на себя обязательств. Следовательно, недобросовестное использование государствами пробелов в регулировании соответствующих правоотношений может повлечь негативные последствия как для международного права в целом, так и для отдельных его составляющих. Международные трибуналы неоднократно

[1] Генеральная Ассамблея, Доклад Комиссии международного права, Пятьдесят третья сессия, Дополнение № 10 (A/56/10), Текст проекта Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, с комментариями, Статья 1.

[2] *Factory at Chorzów (Germany v. Poland)*. Merits. PCIJ. Series A. No. 17. Judgment of 13 September 1928. P. 29.

обращались к этому принципу[3]: «…поскольку данное деяние присваивается государству и представляет собой нарушение договорного права другого государства, международная ответственность возникает непосредственно в отношениях между этими государствами»[4].

Тем не менее, КМП определила обстоятельства, при наличии которых исключается ответственность государства за нарушение международных обязательств. Они применяются к любому международно-противоправному деянию независимо от источника обязательств, не аннулируют и не прекращают обязательства, но оправдывают их неисполнение до тех пор, пока соответствующие обязательства сохраняются[5]. Как объясняет Лукашук: «Указанные обстоятельства не прекращают обязательство и не влияют на его содержание. Они лишь оправдывают его неисполнение, пока те существуют» (Лукашук, 2005, с. 200). Данные обстоятельства нередко становятся инструментом, используемым государствами для оправдания неисполнения обязательств по инвестиционным договорам (по вопросу разграничения терминов см.: Paddeu, 2018). В то же время защита государств от ответственности за неисполнение обязательств — временная, поскольку применяется лишь в период существования таких обстоятельств. Как разъясняет профессор Казчоровска-Ирланд, виды защиты, исключающие вину, «исключают [юридическую] противоправность акта, но не обязательно ответственность государства-нарушителя» (Kaczorowska-Ireland, 2015, p. 506). Это, по ее словам, «особенно верно в ситуации бедствия или необходимости, когда нет причин, по которым государство, действующее в своих интересах, не должно возмещать ущерб или убытки, причиненные его действиями» (Kaczorowska-Ireland, 2015, p. 506).

Для того чтобы установить, образуют ли боевые действия ситуацию форс-мажора, обратимся к существующим подходам к определению непреодолимой силы. Форс-мажор является одним из шести обстоятельств, исключающих противоправность, перечисленных в Проектах статей. Согласно статье 23 форс-мажор это «…непреодолим[ая] сил[а] или непредвиденно[е] событи[е], не поддающи[еся] контролю

---

[3] *Phosphates in Morocco (Italy v. France)*. PCIJ. Series A/B. No. 74. Judgment of 14 June 1938. P. 28; *The S.S. "Wimbledon"*. PCIJ. Series A. No. 1. Judgment of 17 August 1923. P. 30; *Factory at Chorzów*. Jurisdiction. PCIJ. Series A. No. 9. Judgment of 26 July 1927. P. 21; *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania)*. Merits. I.C.J. Reports. 1949. P. 4, 23; *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. Merits. Judgment. I.C.J. Reports. 1986. P. 14, 142. Para. 283; P. 149. Para. 292; *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*. Judgment. I.C.J. Reports. 1997. P. 38. Para. 47.

[4] *Phosphates in Morocco*. P. 28.

[5] Статьи об ответственности государств, комментарий 2 к Главе V "Обстоятельства, исключающие противоправность".

государства, которые сделали в данных обстоятельствах выполнение обязательства материально невозможным». Исключениями являются те случаи, когда «форс-мажорная ситуация обусловлена — либо целиком, либо в сочетании с другими факторами — поведением ссылающегося на нее государства или государство приняло на себя риск возникновения такой ситуации».

В многолетней практике инвестиционных арбитражей форс-мажорными обстоятельствами признавались ситуации, которые имели как природный[6], так и антропогенный[7] характер, в том числе войны и внутренние вооруженные конфликты[8]. Следовательно, в рамках настоящего исследования термин «вооруженный конфликт» охватывает как международные, так и немеждународные вооруженные конфликты. Кроме того, в работе не проводятся различия между форс-мажорными ситуациями, касающимися обязательств воюющих сторон по отношению друг к другу и перед третьими государствами. Квалификация ситуации в качестве форс-мажора не зависит от того, против кого направлены соответствующие действия (обстоятельства). Данный фактор имеет значение при оценке возможностей государства предвидеть соответствующие действия и реагировать на них, а также при использовании механизмов защиты национальных интересов, однако форс-мажор не является таким механизмом. Как будет показано далее, международные трибуналы относятся к применению оговорки о форс-мажоре очень осторожно. В этом случае применяется общий подход к распределению бремени доказывания “*alleganti probatio incumbit”*, то есть сторона, которая ссылается на форс-мажор, должна доказать наличие каждого его элемента[9].

---

6 Huntington Ingalls Incorporated v. Ministry of Defense of the Bolivarian Republic of Venezuela (II). Final Award. 19 February 2018. Paras. 844, 848.

7 *General Dynamics v. Libya*. ICC. Award. 5 January 2016. Para. 250; *French Company of Venezuelan Railroads* Case. Opinion of Umpire. 31 July 1905. P. 353; *Martini* Case. Opinion of Umpire Ralston. 1 January 1903. P. 666; *The Gillison Case (Chile v. United Kingdom)*. Anglo-Chilean Arbitral Tribunal. Award. 17 December 1895. UN Doc. A/CN.4/315. *Yearbook of the International Law Commission.* 1978. Vol. II(1). P. 158–159; *Amoco International Finance Corporation v. Iran*. Iran-United States Claims Tribunal. Partial Award (Award No. 310-56-3). 14 July 1987. Paras. 80–81.

8 Статьи об ответственности государств, комментарий 3 к статье 23; *The Dunn Case (Chile v. UK)*. In: Reclamaciones presentadas al Tribunal Anglo-Chileno 1894–1896. Santiago de Chile: Ercilla, 1896. Vol. 1. P. 538; *American Electric and Manufacturing Company Case (Damages to Property) (1903–1905)*. In: Reports of International Arbitral Awards (RIAA). Vol. 9. P. 145–146; *Petrocelli Case* (of a general nature) (1903). In: RIAA. Vol. 10. P. 591; *Bembelista Case* (1903). In: RIAA. Vol. 10. P. 717.

9 *Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. (Aucoven) v. Bolivarian Republic of Venezuela*. ICSID Case No. ARB/00/5. Award of 23 September 2003. Para. 108.

При этом следует обратить внимание на природу ситуации форс-мажора в международном праве, разграничивая две концепции форс-мажора. Каждая из них оказывает влияние на обязательства по международным договорам. Первая — форс-мажор как обстоятельство, исключающее противоправность, то есть концепция, составляющая основной объект данного исследования; вторая — форс-мажор как фактор, изменяющий порог требуемой должной осмотрительности. Эти две концепции, хотя и применимы к одним и тем же фактам, влекут принципиально различные правовые последствия, но, несмотря на это, нередко по ошибке или намеренно их отождествляют как трибуналы, так и исследователи. Различия и значимость этих концепций мало изучены, однако в литературе все же имеются обстоятельные наработки по данному вопросу (Zrilic, 2019; Paddeu, 2018). Форс-мажор как обстоятельство, исключающее противоправность, применяется в качестве вторичной меры защиты вне рамок первичного обязательства. Он не изменяет содержание и пределы самого обязательства, а лишь оправдывает его неисполнение при наличии соответствующих обстоятельств. В рамках второй концепции, напротив, форс-мажорные обстоятельства понимаются как фактические обстоятельства, влияющие на порог надлежащей осмотрительности при исполнении обязательства. Одним из примеров восприятия форс-мажора в русле второй концепции является позиция трибунала в деле *Gould v. Iran*: «под “форс-мажорными обстоятельствами” мы подразумеваем социальные и экономические силы, которые государство не может контролировать при проявлении должной осмотрительности»[10], высказанная еще до принятия Статей об ответственности государств. Настоящее исследование ограничивается рассмотрением первой концепции.

Опираясь на положения статьи 23 Статей об ответственности государств, широкий спектр доктринальных подходов и судебную практику, можно утверждать, что для возникновения ситуации форс-мажора должны одновременно наличествовать три обстоятельства: (1) деяние обусловлено непреодолимой силой или непредвиденным событием, (2) которые не поддаются контролю соответствующего государства и (3) делают исполнение обязательств материально невозможным. При этом для ссылки на форс-мажор как на обстоятельство, исключающее противоправность, необходимо отсутствие (4) причастности ссылающегося государства к возникновению форс-мажорных обстоятельств и (5) заранее принятого им на себя риска возникновения данной ситуации.

[10] *Gould Marketing, Inc., as Successor to Hoffman Export Corporation v. Ministry of Defence of the Islamic Republic of Iran*. Iran-United States Claims Tribunal. Case No. 49. Final Award (Award No. 136-49/50-2). 22 June 1984. P. 153.

Чтобы ответить на вопрос, поставленный в данном исследовании, следует определить, в какой мере ситуация вооруженного конфликта и ее последствия соответствуют указанным условиям и в каких случаях такое соответствие может свидетельствовать о наличии условий, достаточных для возникновения ситуации форс-мажора.

2. Соответствие вооруженного конфликта критериям форс-мажора как обстоятельства, исключающего противоправность

2.1. Непреодолимая сила или непредвиденное событие

Принцип недопустимости требования невозможного и возложения ответственности за его неисполнение восходит к древности, в частности, наиболее четко эта максима была сформулирована в римском праве: «*impossibilium nulla obligatio est*» (Buckland & McNair, 1936, p. 238). Впоследствии в английском праве сформировался принцип невозможности, выраженный в изречении «*nemo tenetur ad impossibile*» (Paddeu, 2011, p. 387).

Теоретические представления о форс-мажоре сложились уже в XVIII–XIX веках, хотя и не получили широкого распространения, а их формулировки не отличались четкостью. Еще в 1842 году бельгийское правительство отказалось платить возмещение за вред, причиненный инвесторам из разных стран при бомбардировке бельгийского города Антверпена, назвав произошедшее «последствиями открытой войны», то есть случайными событиями или проявлениями непреодолимой силы, за которые никто не несет ответственности[11].

Согласно современному представлению о форс-мажоре, наступившее событие может быть как предвидимым, так и непредвидимым, но при этом оставаться непреодолимым[12]. Эти две ситуации, хотя и относятся к одной категории, рассматриваются по отдельности, и наличия любой из них в совокупности с неподконтрольностью государству и материальной невозможностью исполнения обязательства достаточно для возникновения форс-мажора. В отношении термина «непреодолимый» Комиссия отметила, что «здесь должно существовать препятствие, которое государство не было в состоянии избежать или которому оно не могло

[11] British and Foreign State Papers, 1841–1842. London: Ridgway, 1858. Vol. 30. P. 224 (пер. автора).

[12] Study by the Secretariat. “Force majeure” and “Fortuitous event” as Circumstances Precluding Wrongfulness: Survey of State Practice, International Judicial Decisions and Doctrine // Yearbook of the International Law Commission. 1978. Vol. II. UN Doc. A/CN.4/315 (Part 1). P. 69. Paras. 13, 15.

противодействовать собственными средствами»[13]. Критерий непреодолимости (*vis cui resisti non potest*), по мнению римских авторов, отделял форс-мажор (*vis major*) от случайных событий (*casus*) (Buckland & McNair, 1936, p. 238). «*Vis major*» представляет собой объективную оценку явления, в то время как «*vis cui resisti non potest*» — то есть «сила, которой невозможно противостоять», — субъективную (Gerkens, 2005, p. 109). Непреодолимая сила толкуется Секретариатом ООН следующим образом: «не существует человеческой силы, которая могла бы противостоять этим обстоятельствам»[14]. Такая интерпретация вызывает вопросы относительно способности государства противостоять последствиям вооруженных действий собственными средствами. Однако принято считать, что критерий непреодолимости наступивших обстоятельств отражает силу и значительность наступившего обстоятельства, в то время как невозможность предвидения отражает неожиданность и невозможность вовремя отреагировать на случившееся.

В понимании КМП термин «непредвиденное» охватывает как субъективную добросовестную невозможность предвидеть обстоятельства в момент принятия обязательств, так и объективную невозможность разумно предвидеть их наступление. В комментариях к статье 23 Комиссия использует формулировку «нелегко предвидеть», не требуя абсолютной непредсказуемости. Однако инвестиционные трибуналы, хотя и применяют этот критерий по-разному, в целом устанавливают достаточно высокий порог: обстоятельства должны быть не только «нелегко предвидимыми», но представляться неправдоподобными при разумной оценке. Следовательно, ключевой вопрос заключается в том, могли ли стороны при принятии обязательств по инвестиционным договорам разумно ожидать возникновения активных боевых действий.

Трибунал должен учитывать не только возможность разумно предвидеть вооруженный конфликт, но и его характер и последствия, делающие исполнение обязательства материально невозможным. Иными словами, сторона, ссылающаяся на форс-мажор, должна доказать невозможность разумно предвидеть конфликт такой интенсивности и конфигурации, которые препятствуют исполнению конкретного обязательства, а не только сам факт возникновения конфликта. Это существенно упрощает использование государством данной защиты.

Что касается непредвиденности события, то международная судебная практика, как правило, подходит к данному критерию строго, устанавливая

---

[13] Статьи об ответственности государств, комментарий 2 к статье 23.

[14] Study by the Secretariat. Op. cit. P. 70. Para 17.

высокий порог для его применения. Так, в деле *Autopista v. Venezuela*[15] иностранный инвестор инициировал арбитраж в связи с неисполнением Венесуэлой условий концессионного соглашения, в рамках которого государство обязалось проводить работы и обеспечивать техническое обслуживание дорожной системы, включая повышение тарифов за пользование шоссе. Намерение увеличить тарифы вызвало массовые протесты и беспорядки в 1997 и 2001 годах. Столкнувшись с активной оппозицией населения, власти Венесуэлы отказались повышать тарифы и прекратили исполнение договорных обязательств, сославшись на форс-мажор. Однако трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, анализируя критерий непредвиденности, отказал в признании наличия форс-мажора, указав: «учитывая хорошо известный трагический прецедент событий Каракасо [Caracazo] и сходное воздействие повышения тарифов, предусмотренного договором, на население, Венесуэла не убедила Трибунал в том, что возможность гражданских беспорядков не могла быть предвидена на момент проведения переговоров о Концессионном соглашении»[16].

Такая оценка представляется спорной, особенно ввиду того, что между предшествующими и последующими событиями прошло около восьми лет, а прогнозирование повторения подобных беспорядков спустя столь длительный срок представляется крайне затруднительным. Безусловно, можно учитывать фактические обстоятельства, которые за этот период существенно не изменились, в частности социально-экономическое положение населения и его отношение к повышению цен. Однако ключевым остается вопрос о степени вероятности наступления соответствующих обстоятельств. Во избежание произвольности оценок необходимо учитывать сложившуюся практику, согласно которой точкой отсчета является момент принятия сторонами соответствующих обязательств. Последующее повышение риска в период исполнения договора не имеет значения, даже если непосредственно перед исполнением становится очевидно, что оно материально невозможно. Позиция Венесуэлы заключалась в том, что «стороны не могли и не предвидели протест такого масштаба и угрозу насилия»[17], то есть акцент делался на непредсказуемости интенсивности беспорядков. Тем не менее государство, неся бремя доказывания, не убедило трибунал в том, что обстоятельства на стадии переговоров не давали достаточных оснований

[15] *Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela*. ICSID Case No. ARB/00/5. Award. 23 September 2003.
[16] Ibid. Para. 118.
[17] Ibid. Para. 117.

разумно ожидать протестов, способных сделать исполнение обязательств невозможным. В результате трибунал пришел к выводу, что «предполагаемая невозможность повышения тарифа не была непредвиденной»[18]. Хотя данный подход может показаться чрезмерно строгим, он выглядит обоснованным, поскольку в условиях практически неизменного положения населения вероятность беспорядков была высока, тогда как их масштаб действительно оставался менее предсказуемым.

Для более полного понимания подходов трибуналов к оценке критерия непредвиденности следует обратиться к другим делам, связанным с неисполнением обязательств вследствие вооруженных конфликтов и внутренних беспорядков. Так, в деле *RSM Production Corporation v. Central African Republic*[19] стороны заключили контракт, по которому инвестор получил лицензию на разведку нефтяных месторождений. В 2001 году, то есть в последний год работ, вследствие гражданских и политических беспорядков и вооруженного конфликта в Центральноафриканской Республике инвестор сослался на форс-мажор в обоснование неисполнения отдельных обязательств. В данном деле трибунал занял противоположную позицию, указав, что политическая нестабильность и частые конфликты в ЦАР сами по себе не свидетельствуют о предсказуемости тех обстоятельств, которые приведут к материальной невозможности исполнения договора[20].

Поскольку стороны не оспаривали наличие форс-мажора, трибунал сосредоточился не на самом факте его существования, а на моменте, когда конфликт достиг степени интенсивности, которая объективно исключила возможность продолжения работ инвестором. В части непредвиденности трибунал отметил:

> …несмотря на то что события, вызвавшие форс-мажор, произошли задолго до уведомления о нем, и ситуация в области безопасности в ЦАР отмечалась беспорядками, воздействие этого форс-мажора было незначительным до момента, когда RSM попыталась войти в ЦАР с иностранными группировками. Ранее никаких препятствий для выполнения [инвестором] своих договорных обязательств не существовало[21].

Следовательно, трибунал счел прежнюю нестабильность в регионе, не препятствовавшую исполнению контракта, недостаточной для вывода о предвидимости тех обстоятельств, которые впоследствии сделали

---

18 Ibid. Para. 118.

19 *RSM Production Corporation v. Central African Republic*. ICSID Case No. ARB/07/02. Decision on Jurisdiction and Liability. 7 December 2010.

20 Ibid. Paras. 180–185.

21 Ibid. Para. 180.

исполнение невозможным. В результате в рассматриваемой ситуации было признано наличие всех критериев форс-мажора.

В деле *Gujarat v. Yemen*[22], как и в вышеизложенном деле, по мнению инвестора, беспорядки и мятежи в Йемене в 2011 году сделали небезопасным проведение сейсмических исследований и других работ, необходимых в рамках инвестиционного контракта. В этом случае трибунал обратился к широкой трактовке положения о форс-мажоре согласно контракту сторон, где предсказуемость не была отражена как условие такового[23], и удовлетворил позицию инвестора о наличии форс-мажорного обстоятельства, однако, отметив, что даже при наличии такого условия, в данном случае он указал бы на форс-мажор[24]. Важно, что трибунал изложил следующую идею: «…наличие риска на момент заключения контракта само по себе не исключает возможности ссылки стороны на последующее увеличение такого риска как на обстоятельство, препятствующее исполнению обязательств по контракту»[25]. Данный вывод подтверждает ранее сформулированную позицию о том, что полное отсутствие риска наступления соответствующего обстоятельства не является необходимым условием для квалификации ситуации как форс-мажора. Следовательно, сторона не может быть лишена возможности ссылаться на форс-мажор лишь потому, что на момент заключения договора уже существовал незначительный риск наступления таких обстоятельств. При этом соответствующее обстоятельство должно по своему характеру быть способно воспрепятствовать исполнению обязательств, а его наступление — либо не поддаваться разумному предвидению сторонами, либо, хотя и оставаться возможным, носить маловероятный характер.

В недавнем деле *Tekfen and TML v. Libya*[26] стороны представили противоположные позиции относительно предсказуемости обстоятельств, нарушивших исполнение контрактных обязательств. Инвестор утверждал, что государство было осведомлено о возможности причинения вреда инвестициям, однако не приняло необходимых мер по их защите, несмотря на предсказуемость такого вреда[27]. В свою очередь, государство ссылалось на показания самих заявителей о том, что вероятность возникновения реальной угрозы режиму представлялась маловероятной с учетом

---

22 *Gujarat State Petroleum Corporation Limited v. the Republic of Yemen and the Yemen Ministry of Oil and Minerals*. ICC Arbitration No. 19299/MCP. Award. 10 July 2015.
23 Ibid. Para. 158.
24 Ibid. Para. 159.
25 Ibid.
26 *Tekfen-TML Joint Venture, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. and TML İnşaat A.Ş. v. State of Libya*. ICC Arbitration No. 21371/MCP/DDA. Final Award. 11 February 2020.
27 Ibid. Claimant paras. 4.15.7–4.15.8; Respondent para. 5.8.7.

жесткого тоталитарного правления Каддафи[28]. В конечном счете трибунал не счел необходимым обращаться к вопросу о форс-мажоре, поскольку не установил нарушения государством стандарта должной осмотрительности (англ.: *due diligence*). Вместе с тем трибунал отметил большую убедительность позиции ответчика, указав, что при необходимости мог бы прийти к выводу о наличии обстоятельств, исключающих противоправность[29].

Сопоставление приведенных выше решений не позволяет сделать однозначный вывод о том, какие обстоятельства могут соответствовать критерию непредвиденности. Тем не менее общая практика инвестиционных трибуналов свидетельствует о том, что вооруженные конфликты и мятежи нередко рассматриваются в качестве непредвиденных обстоятельств, хотя при этом учитывается степень подверженности конкретного государства внутренним и внешним конфликтам в соответствующий период. Иными словами, трибуналы оценивают возможность предвидения в более широком контексте, принимая во внимание политическую нестабильность, предшествующие конфликты, территориальные споры, общественные волнения и иные сопутствующие обстоятельства. Оценка вооруженного конфликта как обстоятельства форс-мажора не может носить универсальный характер и требует детального анализа указанных факторов. Вместе с тем даже государства, находящиеся в условиях конфликта или уже выступающие его сторонами, не лишаются возможности привлекать инвестиции и ссылаться на форс-мажор в целях исключения международно-правовой ответственности.

Однако трибуналы, принимая во внимание способность сторон самостоятельно оценивать риски, исходят из того, что как инвесторы, так и государства добровольно принимают на себя риск наступления форс-мажорных обстоятельств, даже если такое распределение риска прямо не закреплено в договоре.

Более определенная позиция в практике трибуналов сложилась в отношении критерия непреодолимости. Непреодолимая сила предполагает наличие обстоятельств, которых государство разумно не могло избежать и которые не поддаются эффективному контролю или преодолению со стороны ни государства, ни инвестора. При этом соответствующее обстоятельство может быть как предвидимым, так и непредвидимым. Комментарий КМП разъясняет, что даже существенное затруднение

[28] Ibid. Respondent para. 5.8.7.
[29] Ibid. Para. 7.7.143.

исполнения обязательства само по себе не является достаточным основанием для признания обстоятельства непреодолимой силой[30].

Требование непреодолимости во многом связано с критерием материальной невозможности исполнения, так как обстоятельство делает исполнение обязательства материально невозможным лишь постольку, поскольку оно является непреодолимым, и только на период существования такого обстоятельства. Напротив, преодолимость ситуации предполагает сохранение возможности исполнения обязательства, хотя и сопряженного с дополнительными трудностями. Вместе с тем непреодолимой должна быть сама сила или событие, лежащие в основе форс-мажора, тогда как вопрос о возможности исполнения обязательств в условиях их наступления подлежит самостоятельной оценке.

В вышеупомянутом деле *RSM Production Corporation v. Central African Republic* трибунал обратился к вопросу о возможности избежать наступления форс-мажорных обстоятельств и оценил действия инвестора с точки зрения предпринятых им мер по предотвращению их последствий. В обоснование своей позиции инвестор утверждал, что неисполнение контрактных обязательств в течение четвертого и пятого годов было обусловлено отказом субподрядчиков осуществлять деятельность в ЦАР ввиду небезопасной обстановки в стране. В свою очередь, ЦАР указала, что данный отказ сам по себе не препятствовал инвестору исполнить обязательства по контракту и что контракт не предусматривал подобного основания для приостановления его исполнения[31]. Трибунал, обратившись к практике проведения работ в данной сфере, констатировал, что субподряд зачастую является необходимым и инвестор нуждался в привлечении специализированной компании для осуществления этих работ, после чего постановил:

> …RSM была вынуждена привлекать сторонние организации для выполнения сейсмических работ. С учетом ограниченного числа компаний, способных выполнить соответствующие работы в течение четвертого и пятого годов, RSM, по всей вероятности, не могла преодолеть последствия отказа таких компаний от участия в проекте. Более того, как только у RSM появились основания полагать, что ситуация улучшилась, компания предприняла безуспешную попытку привлечь китайскую компанию для завершения работ[32].

Таким образом, трибунал установил, что инвестор был практически лишен возможности совершить действия, предусмотренные контрактом, по

---

30 Статьи об ответственности государств, комментарий 3 к статье 23.

31 *RSM Production Corporation v. Central African Republic*. ICSID Case No. ARB/07/2. Decision on Jurisdiction and Liability. 7 December 2010. Para. 181.

32 Ibid. Paras. 182, 183.

причинам, не зависящим от него. Трибунал также подтвердил, что инвестор принял меры для предотвращения данной ситуации, в частности попытался привлечь китайскую компанию к выполнению работ, что, по мнению трибунала, было достаточным для подтверждения непреодолимого характера сложившихся обстоятельств. Подчеркнем, что трибунал не стал отдельно рассматривать возможность избежать наступления такой ситуации вне контекста тех мер, которые могли быть приняты инвестором. Вместо этого трибунал оценил, проявил ли инвестор должную осмотрительность и предпринял ли все разумные усилия для предотвращения неисполнения своих обязательств. Подобный подход к оценке критерия непреодолимости прослеживается в практике большинства трибуналов, рассматривавших вопросы применения форс-мажора.

2.2. Контролируемость

В международной практике как до кодификации, так и в ходе разработки Статей об ответственности государств отсутствие у государства возможности контролировать событие форс-мажора не рассматривалось как полное отсутствие какой-либо связи между государством, ссылающимся на форс-мажор, и наступившим событием. Такие обстоятельства должны находиться вне контроля государства[33], но в то же время они могут квалифицироваться как форс-мажор даже в случаях, когда действие или бездействие, повлекшие их возникновение, исходили от самого государства, при условии, что эти обстоятельства не стали результатом его умышленного поведения (Zrilic, 2019, p. 6). Трибуналы нередко проводят параллель между требованием отсутствия контроля государства над форс-мажорным обстоятельством и вопросом о вменении деяния государству[34]. В данном контексте по вопросу о подконтрольности Секретариат КМП отметил следующее:

> Что касается ущерба, причиненного иностранцам или их имуществу частными лицами, государство несет ответственность лишь в том случае, если такой ущерб стал следствием непринятия им мер, «которые обычно должны были быть приняты в данных обстоятельствах» для предотвращения причинения вреда, его возмещения либо привлечения виновных лиц к ответственности[35].

---

[33] Force majeure // Jus Mundi, Wiki Notes. 19 September 2023. Para. 12; *Huntington Ingalls Incorporated v. Ministry of Defense of the Bolivarian Republic of Venezuela (II)*. Para. 236; *Platinum Blackstone PTY LTD (formerly known as Nexbis Pty Ltd) v. Republic of Maldives*. SIAC Case No. ARB003 of 2014. Award (No. 132 of 2016). 24 November 2016. Para. 170; *Sambiaggio Case*. Opinion of Umpire Ralston. 1 January 1903. P. 513.

[34] *Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela*. Para. 126.

[35] Study by the Secretariat. Op. cit. Para. 69.

Таким образом, явно прослеживается намерение Комиссии оценивать правомерность деяния государства исходя из степени предполагаемой должной осмотрительности, рассматривая ее как объективно существующее обстоятельство, не зависящее от воли сторон. Также отчетливо прослеживается стремление трибуналов применять Главу II Статей об ответственности государств при определении наличия контроля над форс-мажорными обстоятельствами.

Сходную позицию в деле *Spanish Zone of Morocco* занял арбитр Макс Хубер, указавший, что «государство само по себе не несет ответственности за факт существования конфликта, будь то мятеж, восстание, гражданская война или международная война, равно как и за причинение ущерба такими событиями на его территории». Вместе с тем, признав, что «такие события должны рассматриваться как “случаи форс-мажора”», Хубер отметил: «государство тем не менее может нести ответственность за действия или бездействие властей по предотвращению, насколько это возможно, последствий таких событий»[36].

В этом контексте показательны решения инвестиционных трибуналов, в которых наступившее обстоятельство оценивалось как пребывающее вне контроля государства. Так, в деле *Huntington Ingalls v. Venezuela* трибунал отметил, что «задержка, с которой истец столкнулся при выполнении обязанностей по контракту, была вызвана определенными причинами, находившимися вне контроля сторон, такими как штормы и ураганы…»[37], а в деле *Sambiaggio* — отсутствие ответственности государства за действия мятежников, которыми оно не управляет[38]. Трибунал также добавил, что государство не может нести ответственность за деяния лиц, которые вышли из-под его контроля и действуют без согласия властей[39].

В уже упомянутом деле *RSM Production Corporation v. Central African Republic* трибунал подчеркнул, что инвестор никоим образом не мог повлиять на возникший в государстве конфликт, который, безусловно, находился вне его контроля[40]. Трибуналы также связывают невозможность исполнения обязательства по инвестиционному договору с последствиями действий контрагента, которые, в свою очередь, могут быть обусловлены

---

36 *Spanish Zone of Morocco (Great Britain v. Spain)* (1924) // Reports of International Arbitral Awards (RIAA). Vol. 2. P. 615, 639, 642.

37 *Huntington Ingalls Incorporated v. Ministry of Defense of the Bolivarian Republic of Venezuela (II)*. Op. cit. Paras. 236, 844.

38 *Sambiaggio Case*. Opinion of Umpire Ralston. 1 January 1903. P. 513.

39 Ibid.

40 *RSM Production Corporation v. Central African Republic*. Op. cit. Para. 184.

форс-мажорными обстоятельствами[41]. В таком случае ответственность исключается для обеих сторон.

Анализ приведенных решений позволяет заключить, что трибуналы нередко отождествляют критерий контролируемости форс-мажорного обстоятельства с режимом вменения поведения государству. При определении роли субъекта в возникновении форс-мажорных обстоятельств они опираются на общепринятые стандарты вменения. В контексте вооруженных конфликтов ситуация осложняется тем, что военные действия неизбежно являются результатом поведения государств — как агрессора, так и обороняющегося. Более детально эти аспекты целесообразно рассматривать при анализе причастности государства к возникновению конфликта в рамках статьи 23(2)(a) Статей об ответственности государств.

Критерий неподконтрольности форс-мажорного обстоятельства отражает общий подход доктрины и трибуналов: исключение ответственности возможно при отсутствии действий государства, направленных на наступление противоправных последствий. Ключевым элементом является участие государства, его органов или подконтрольных ему субъектов в создании материальной невозможности исполнения обязательства, что может свидетельствовать о наличии неправомерного намерения уклониться от его исполнения. Речь идет о риске намеренного создания или использования форс-мажорных обстоятельств для избежания ответственности. Соответственно, данный критерий должен служить гарантией против злоупотребления соответствующей защитой и в определенной мере нейтрализовать недобросовестное поведение государств в условиях вооруженных конфликтов.

В то же время, как отмечала КМП в ходе разработки статьи 23, условие «вне контроля» было добавлено для того, чтобы еще отчетливее подчеркнуть элемент невозможности[42]. Тем самым выявляется проблема размытости границ между критериями непреодолимости и неподконтрольности. Эти условия пересекаются при оценке того, может ли государство взять наступившее обстоятельство под контроль и устранить его влияние на исполнение обязательства. В подобных случаях непреодолимость фактически совпадает с неподконтрольностью и наоборот, что порождает определенные концептуальные трудности.

---

41 *Gould Marketing, Inc., as Successor to Hoffman Export Corporation v. Ministry of Defence of the Islamic Republic of Iran*. Iran-United States Claims Tribunal. Case No. 49. Interlocutory Award (Award No. ITL 24-49-2). 27 July 1983. P. 153.

42 Ago R. Eighth Report on State Responsibility // Yearbook of the International Law Commission. 1979. Vol. II. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1979.1 (Part 1) (Ago, Eight Report). P. 234. Para. 3.

2.3. Материальная невозможность

После констатации существования непреодолимой силы или непредвиденного события, которое неподконтрольно государству, следует установить причинно-следственную связь между данным событием и неисполнением обязательства. Прямым последствием наступления непреодолимой силы или непредвиденного обстоятельства является невозможность исполнения существующих обязательств[43]. Форс-мажор не охватывает ситуации, при которых исполнение обязательств стало труднее, например, ввиду политического или экономического кризиса[44]. Основная проблема заключается в определении случаев, когда вооруженные конфликты обладают достаточной интенсивностью, чтобы влиять на возможность исполнения обязательства. Чтобы сформировать полное представление о данном вопросе, необходимо рассмотреть как случаи невозможности исполнения обязательств по защите и предоставлении гарантий инвесторам, так и невозможности исполнения финансовых обязательств.

Для понимания данного критерия следует проанализировать процесс его формирования и функционирования. Первый специальный докладчик по Статьям об ответственности государств Ф. Гарсия-Амадор во втором переработанном варианте положения об исключении ответственности при наступлении обстоятельства непреодолимой силы впервые предложил отразить идею «невозможности» исполнения обязательства именно в такой формулировке, не добавляя дополнительных слов к термину[45]. После этого второй специальный докладчик Р. Аго доработал данное предложение и представил собственную концепцию, более четко разграничив ситуации необходимости и форс-мажора. В ней Аго отразил критерий «абсолютной невозможности» исполнения обязательства, который, по его мнению, означал отсутствие какой-либо возможности государств избежать неисполнения и тем самым исключал волю государства в подобных случаях[46]. Уже тогда существовало понимание того, что абсолютная невозможность исполнения могла наступить вне зависимости от причин возникновения соответствующей ситуации, включая как антропогенные, так и природные явления[47]. Несмотря на то что словосочетание «абсолютная

---

43 Статьи об ответственности государств, комментарий 2 к статье 23.
44 Статьи об ответственности государств, комментарий 3 к статье 23.
45 García-Amador F. V. Sixth Report on International Responsibility. UN Doc. A/CN.4/134 and Addendum // Yearbook of the International Law Commission. 1961. Vol. II. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1961/Add.1. P. 48. Art. 17(1).
46 Ago R. Op. cit. P. 49. Para. 106.
47 Ibid. Para. 107.

невозможность» подвергалось определенной критике, принятые в доктринальных подходах правовая и моральная невозможность не признавались потенциальными основами для установления форс-мажора. Напротив, как единственные возможные основы были приняты материальная и абсолютная невозможность[48]. Впоследствии слово «абсолютная» было изменено на «материальная», что, с точки зрения Комиссии, означало более объективный критерий оценки невозможности вместо ранее применимого субъективного. Последним специальным докладчиком, модифицировавшим статью о форс-мажоре, стал Дж. Кроуфорд, и он оставил термин «материальная невозможность» без изменений. Однако в ходе обсуждений некоторые члены Комиссии задавались вопросом о правильности данного термина[49], обращаясь к решению Международного Суда по делу *Rainbow Warrior*, где суд выразил недвусмысленную позицию, постановив, что «…тест применимости [форс-мажора] заключается в абсолютной и материальной невозможности, и … обстоятельство, делающее выполнение более трудным или обременительным, не составляет случай форс-мажора»[50]. Некоторые члены Комиссии задались вопросом о различии между «абсолютной и материальной» и «материальной» невозможностью[51]. Тем не менее в итоге Кроуфорд счел термин «абсолютная» излишним и не включил его в проект статьи[52]. Концепция абсолютной невозможности не получила поддержки и в последующей практике Международного Суда, который проводил разграничение между материальной невозможностью в контексте форс-мажора и более высоким стандартом невозможности в контексте последующей невозможности исполнения договора по смыслу Венской конвенции о праве международных договоров[53].

Классическим примером невозможности обычно считается ситуация, при которой воздушное судно государства вследствие повреждения или потери управления из-за погодных условий вынуждено войти в воздушное пространство другого государства без разрешения последнего[54]. Однако разнообразие форм и видов проявлений невозможности исполнения бесконечно.

---

48 ILC. Summary record of the 1573rd meeting. UN Doc. A/CN.4/SR.1573. P. 205. Paras. 1–2.

49 См. также: Kateka // Yearbook of the International Law Commission. 1999. Vol. I. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1999. P. 171. Para. 22; He Q. // Yearbook of the International Law Commission. 1999. Vol. I. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1999. P. 172. Para. 25; Kamto // Yearbook of the International Law Commission. 1999. Vol. I. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1999. P. 179. Para. 29.

50 *Rainbow Warrior Affair (New Zealand v. France) (1990)* // Reports of International Arbitral Awards (RIAA). Vol. 20. P. 217, 253.

51 He Q. Op. cit. P. 172. Para. 25.

52 Crawford. Op. cit. P. 179. Para. 35.

53 *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*. Judgment. I.C.J. Reports. 1997. Para. 102.

54 Статьи об ответственности государств, комментарий 5 к статье 23.

Материальная невозможность исполнения обязательства, несомненно, подразумевает временные рамки, которые обусловлены существованием причинно-следственной связи между событием и неисполнением обязательства. Невозможность может быть квалифицирована как форс-мажор, только если государство в текущий момент переживает обстоятельство непреодолимой силы или его последствия. Широко признано, что ссылка на форс-мажорные обстоятельства представляет собой реакцию на уже наступившее или, по крайней мере, продолжающееся обязательство (Paddeu, 2011, p. 463). Невозможность неисполнения прекращается одновременно с прекращением действия непреодолимой силы, вследствие чего отпадает основание для исключения ответственности, а правоотношения между сторонами возобновляются в прежнем объеме.

В деле *General Dynamics v. Libya* трибунал рассмотрел вопрос о невозможности исполнения обязательств вследствие вооруженного конфликта в Ливии, бомбардировки Триполи, террористических атак и нарастающих беспорядков. Трибунал установил, что невыполнение обязательств по выплатам и невозможность передачи акта приема-передачи были обусловлены ситуацией форс-мажора, возникшими в результате вооруженного конфликта. Трибунал отметил, что «события в Ливии носили такой характер и интенсивность, что прервали повседневную техническую и административную работу Департамента закупок Временного генерального комитета обороны»[55]. Не найдя в доводах инвестора существенных аргументов об опровержении защиты форс-мажора, трибунал пришел к выводу, что «гражданская война в Ливии и иностранное военное вмешательство представляли собой форс-мажорные обстоятельства, которые помешали Ответчику выполнить свои договорные обязательства, включая предоставление актов приема-передачи или оплаты»[56]. Анализируя возможные действия ответчика, трибунал обратился к некоторым аспектам воздействия вооруженных действий на исполнение обязательств. Так, трибунал принял во внимание положение, в котором оказались Временный генеральный комитет обороны, подписавший контракт LTCIS, и Министерство обороны — конечный бенефициар данного контракта — в начале конфликта, тем самым фактически допустив снижение стандарта разумно ожидаемого поведения от этих ведомств в условиях вооруженного конфликта. Конфликт своим существованием «прервал» работу этих ведомств и серьезно повлиял на безопасность персонала Ответчика,

[55] *General Dynamics v. Libya*. Op. cit. Para. 255.
[56] Ibid. Para. 260.

доступ к документации, имеющей отношение к Контракту LTCIS, и доступ к средствам связи. Комментируя решение трибунала с учетом общей картины дела, можно отметить его ситуационный подход к вопросу о материальной невозможности. Трибунал рассмотрел возможные способы исполнения обязательств, а также риски, которыми сопровождалась бы реализация таких вариантов. Впоследствии решение было принято на основе анализа наличия материальной невозможности в конкретных обстоятельствах дела и отсутствия вмешательства государства в ее возникновение.

В ранее упомянутом деле *Autopista Concesionada v. Venezuela* трибунал, оценивая подход венесуэльского законодателя к «невозможности» и сравнивая его с международно-правовым подходом, отметил следующее: «Не обязательно, чтобы событие форс-мажора было непреодолимым; достаточно, чтобы по всем разумным оценкам оно затрудняло надлежащее исполнение контракта»[57]. Далее, трибуналом проводится параллель с доктринальными подходами в административном и частном праве[58]. Согласно этим подходам «не обязательно, чтобы событие, квалифицируемое как форс-мажор, было непреодолимым или делало исполнение согласованных обязательств абсолютно невозможным; достаточно, чтобы по всем разумным основаниям оно существенно затрудняло нормальное исполнение контракта, и, следовательно, требование абсолютной невозможности не является обязательным» (Bercaitz, 1980, p. 578), что также соответствует подходу частного права к данному вопросу, согласно которому «“форс-мажор” может возникнуть, когда внешнее и непредсказуемое событие нарушает или изменяет “окончательным” образом равновесие контракта» (Marienhoff, 1983, p. 359).

Подходы, выработанные международными судами и трибуналами, позволяют сделать вывод о том, что термин «материальная невозможность» в статье 23 не направлен на исключение всех ситуаций, в которых государство или инвестор сохраняют формальную возможность исполнить обязательство ценой причинения неминуемого и серьезного ущерба своим существенным интересам. Вместе с тем данный критерий охватывает случаи, когда нарушается экономическое или фактическое равновесие договорных отношений, существенно изменяются обстоятельства, существовавшие на момент принятия обязательств, либо возникают иные факторы, вследствие которых исполнение обязательства становится чрезвычайно затруднительным — более обременительным, чем

[57] *Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela*. Op. cit. Para. 121.
[58] Ibid.

в условиях обычного экономического кризиса, но при этом еще не достигает уровня абсолютной невозможности. Так, в делах *Autopista* и *General Dynamics* трибуналы сочли существенным то обстоятельство, что вооруженный конфликт настолько изменил объективные условия, в которых стороны заключали договор или осуществляли инвестиции, что был нарушен обычный ход хозяйственной деятельности, а на стороны было возложено несоразмерно тяжелое бремя исполнения. В результате возник дисбаланс между объемом усилий, ожидаемых от сторон, и выгодами, которые они могли разумно рассчитывать получить от исполнения обязательств. Это еще раз подтверждает, что для применения форс-мажора не требуется установления абсолютной невозможности исполнения. Вместе с тем подобная интерпретация не должна создавать впечатление о широкой доступности данной защиты или высокой вероятности ее успешного применения. Форс-мажор как обстоятельство, исключающее противоправность, представляет собой исключение из общего правила и потому подлежит ограничительному толкованию. Кроме того, анализ обычного значения терминов статьи 23 и истории их формирования позволяет заключить, что КМП стремилась максимально сузить сферу применения форс-мажора, ограничив ее случаями крайней степени затруднительности исполнения обязательства, обозначаемой термином «невозможность».

Экономическая и политическая ситуация государства в период вооруженных конфликтов также может стать фактором, вносящим существенные изменения в равновесие договорных отношений между сторонами инвестиционных соглашений. Материальное затруднение исполнения обязательств в таких условиях может выражаться в как физической опасности осуществления определенных действий, включая, например, невозможность обеспечения полной защиты с помощью частных охранных компаний, так и в материально-финансовых рисках, связанных с потенциальными ограничениями финансовых переводов, ощутимым ущербом экономике и, как следствие, угрозами государственной безопасности и так далее. При этом в последнем случае, несмотря на практику трибуналов и позиций государств, речь скорее идет о ситуации необходимости, чем о форс-мажоре (Zrilic, 2019, p. 6; Paddeu, 2011, pp. 459–460).

При рассмотрении материальной невозможности исполнения обязательств возникает вопрос о том, какие меры следует считать достаточными для признания того, что государство проявило должную осмотрительность и сделало все материально возможное для предотвращения нарушения обязательства. На этот вопрос предлагается

отвечать, проводя границы между возможными и невозможными действиями для определенного государства в определенный момент, то есть применяя дифференцированный подход в каждом случае с учетом финансовых, политических, экономических и иных факторов. В данном контексте под «невозможными» действиями понимаются также те, которые теоретически осуществимы, однако требуют неразумных усилий, и потому их неисполнение не может рассматриваться как нарушение принципа добросовестности. Важным условием в квалификации таких действий как невозможных является установление порога неразумных усилий, который должен быть выше обычных затруднений или финансовой невыгодности, тем самым исключая возможность злоупотребления защитой форс-мажора для прикрытия незначительных трудностей исполнения обязательства.

Этот тезис подтверждается рассуждениями Дж. Кроуфорда, который указывает, что «общее правило невиновности в таких обстоятельствах основано на презумпции, что даже объективная ответственность требует нормальной способности действовать, и серьезные внутренние потрясения равносильны форс-мажору». Хотя в доктрине существует общее согласие относительно того, что правило невиновности не будет применяться, если соответствующее правительство не докажет должной осмотрительности, а этот стандарт может варьироваться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств (Crawford, 2019, p. 536).

Недостаточная активность государства в обеспечении режима полной защиты и охраны собственности иностранных инвесторов, рассматриваемого в рамках международного экономического права и сохраняющего определенный неизменный объем даже в условиях вооруженных конфликтов, неизбежно вступает в противоречие с режимом защиты гражданских объектов, сформированным нормами международного гуманитарного права (МГП) и существенно отличающимся по своему содержанию и целям. Одни лишь вопросы военной необходимости и допущение определенного вреда при условии пропорциональности прямому военному преимуществу раскрывают ряд неопределенностей в соотношении положений международного инвестиционного права и МГП. Тем не менее обязательства, предусмотренные инвестиционными договорами, остаются в плоскости международного экономического права. Хотя их неисполнение не оценивается по правилам и принципам военного времени как способ выявления правомерности действий, а рассматривается как нарушение договорных стандартов, такая оценка осуществляется самостоятельно — на основе норм и принципов инвестиционного права. Иными словами, международное гуманитарное право в отдельных случаях может

использоваться как инструмент оценки правомерности поведения государства в условиях вооруженного конфликта, результаты которой затем учитываются и как обстоятельства при определении соблюдения государством обязательств по инвестиционному договору. Ошибочно было бы полагать, что эти отрасли противоречат друг другу и неизбежно создают коллизию при любых обстоятельствах вооруженного конфликта. В данном случае не стоит вопрос о приоритете одной отрасли над другой как *lex specialis*, так как используется интегративная интерпретация, совмещающая нормы этих отраслей в действии.

Ситуации форс-мажора могут подразумевать оценку невозможности действий или бездействий в отдельных обстоятельствах вооруженного конфликта. В таких случаях невозможность действия будет рассматриваться сквозь призму военной необходимости и пропорциональности, чтобы выявить ситуации, требующие неразумных усилий, неисполнение которых не будет квалифицироваться как нарушение добросовестности. Кроме того, наличие вооруженного конфликта повлияет на границы требуемой должной осмотрительности, модифицируя их и устанавливая новый порог.

Подводя промежуточный итог, можно отметить, что материальная невозможность как категория, несущая в себе незначительную субъективную составляющую, может претвориться в жизнь только в случаях добросовестной невозможности исполнения обязательств, которая иногда выражается в бессилии перед разрушительными последствиями вооруженных конфликтов или насущной военной необходимостью. В делах международных трибуналов и судов, таких как дело *Lighthouses*[59] или дело *Railroads*[60], суды исходят из непреодолимого характера разрушений войны, иногда относя сопутствующий военным действиям ущерб к категории «опасности войны» (Kiss, 1962, pp. 618–619), «правомерных военных действий»[61] или «несчастных случаев»[62], подразумевая бессилие сторон перед такими последствиями. Исполнение обязательства в таких случаях должно быть признано материально невозможным и ответственность государства на время существования таких обстоятельств исключается. Несмотря на то что это понимание невозможности существует в международном праве уже давно, представления о пределах должной

[59] *Lighthouses case between France and Greece*. PCIJ. Series A/B. No. 62. Judgment. 17 March 1934. P. 219–220.

[60] *French Company of Venezuelan Railroads Case*. Opinion of Umpire. 31 July 1905.

[61] *The Dunn Case (Chile/United Kingdom) (1895)*. In: Study by the Secretariat. Op. cit. P. 158; *The Case of the Compagnie Française des Chemins de Fer Vénézuéliens (France/Venezuela) (1905)*. In: Study by the Secretariat. Ibid. P. 166.

[62] *De Wytenhove Case (France/Italy) (1950)* // Reports of International Arbitral Awards (RIAA). Vol. 13. P. 228.

осмотрительности и добросовестности государства претерпевают постоянные изменения.

2.4. Причастность государства

Условие причастности государства к созданию форс-мажорных обстоятельств тесно связано с критерием контроля над такими обстоятельствами. Вместе с тем вопрос об обусловленности возникновения форс-мажорной ситуации действиями государства, ссылающегося на форс-мажор, требует самостоятельного и комплексного анализа. Дальнейшее развитие данного тезиса основывается на идее недопустимости наличия у государства намерения создать условия, позволяющие ему уклониться от исполнения договорных обязательств, злоупотребляя ссылкой на форс-мажор в целях исключения международно-правовой ответственности.

В исходной редакции текста статьи о форс-мажоре в Статьях об ответственности государств первый специальный докладчик, объединяя форс-мажор и ситуацию крайней необходимости, изложил условие причастности государства следующим образом: «…при условии, что государство не спровоцировало опасность и не могло противодействовать ей другими средствами»[63]. В дальнейшем Комиссия вновь сместила акцент в сторону оценки поведения самого государства, «которое не было следствием действия или бездействия его собственных органов или должностных лиц»[64], и в каком-то смысле вернулось к прежнему подходу, выбирая термины, способные точнее выражать волю государства, в следующем варианте, согласно которому «Параграф 1 не применяется, если соответствующее государство способствовало возникновению ситуации материальной невозможности»[65]. Особого внимания заслуживает замена слов «спровоцировало» и «следствием действия» словом «способствовало», что указывает на степень вовлеченности самого государства в создание форс-мажорных обстоятельств. В отношении данной формулировки Комиссия разъяснила, что речь идет о ситуации, когда государство намеренно либо по небрежности способствует возникновению обстоятельств материальной невозможности[66].

---

63 *García-Amador F. V. Third Report on International Responsibility*. UN Doc. A/CN.4/111 // Yearbook of the International Law Commission. 1958. Vol. II. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1958/Add.1. P. 50.

64 Yearbook of the International Law Commission. 1961. Vol. II. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1961/Add.1. P. 48.

65 Riphagen W. // Yearbook of the International Law Commission. 1979. Vol. I. UN Doc. A/CN.4/SER.A/1979. P. 234.

66 Report of the International Law Commission to the General Assembly on the Work of its Thirty-First Session // Yearbook of the International Law Commission. 1979. Vol. II(2). P. 132. Para. 36.

Позже специальный докладчик Дж. Кроуфорд изменил этот термин. В конечном варианте статьи о бедствии использовалась следующая формулировка: «Пункт 1 не применяется, если ситуация бедствия обусловлена — либо целиком, либо в сочетании с другими факторами — поведением ссылающегося на него государства»[67]. Комиссия, комментируя свою позицию по этому вопросу, среди прочего обращается к делу *LAFICO v. Burundi*, где трибунал отклонил возможность ссылки на форс-мажор, поскольку «предполагаемая невозможность не была результатом непреодолимой силы или непредвиденного внешнего события вне контроля Бурунди. На самом деле невозможность являлась результатом одностороннего решения этого государства»[68]. Этим решением суд подтвердил невозможность ссылки на форс-мажор, если наступление невозможности исполнения обязательства обусловлено волей государства.

По вопросу о степени вовлеченности государства Комиссия отметила, что порог «способствования» возникновению такой ситуации, как было закреплено в прошлом варианте статьи, был недостаточным. Вместо этого ситуация форс-мажора должна быть «обусловлена» поведением ссылающегося на нее государства[69]. По мнению Кроуфорда, «вполне возможно, что государство невольно “способствовало” возникновению форс-мажорной ситуации чем-то, что, оглядываясь назад, могло быть сделано по-другому, но что само по себе не представляет собой нарушение международного обязательства и не делает событие менее непредвиденным»[70]. Как отмечает Комиссия, именно такая формулировка сохраняет возможность ссылки на форс-мажор в подобных ситуациях[71].

Используя формулировку об «обусловленности» наступления соответствующей ситуации действиями государства вместо термина «способствование» ее возникновению, Комиссия тем самым указывает на изменение требуемой степени вовлеченности государства, устанавливая более высокий порог его участия в возникновении форс-мажорных обстоятельств. В связи с этим Комиссия подчеркивает: пункт 2(a) требует, чтобы роль государства при возникновении форс-мажора была значительной[72].

Учитывая вышесказанное, проанализируем, когда и в какой степени невозможность исполнения обязательств в период международных

---

67 Статьи об ответственности государств, статья 24(1).

68 *Lybian Arab Foreign Investment Company (LAFICO) v. Burundi*. Ad Hoc Arbitration. Award. 4 March 1991 // International Law Reports (ILR). 1994. Vol. 96. P. 318. Para. 55.

69 Статьи об ответственности государств, статья 24(1).

70 Crawford J. Second Report on State Responsibility // Yearbook of the International Law Commission. 1999. Vol. II(1). UN Doc. A/CN.4/498/Add.1-4. P. 66. Para. 263.

71 Статьи об ответственности государств, комментарий 9 к статье 23.

72 Там же.

вооруженных конфликтов и конфликтов немеждународного характера обусловлено действиями государства.

Рассматривая подход трибуналов и доктринальную базу Проекта статей, можно вывести «формулу расчета» обусловленности наступления ситуации действиями государства. При этом причина или условия возникновения конфликта в целом значения не имеют. Оценке подлежит только само событие, которое привело к материальной невозможности. Поэтому, насколько бы *prima facie* ни казалось важным определить в конфликте агрессора и сторону, осуществляющую самооборону, как таковая эта квалификация не влияет на разрешение вопроса об обусловленности, поскольку во время вооруженных конфликтов возможны ситуации, в которых обе стороны, независимо от их позиции, могут осуществлять действия, которые сделают исполнение обязательств по инвестиционным договорам материально невозможным. Более того, нельзя исключать возможность наличия воли государств, направленной на намеренное создание условий невозможности. Следовательно, необходимо рассматривать степень вовлеченности государства в каждом отдельном случае нарушения, определяя, какие именно действия привели к возникновению невозможности исполнения обязательства. Такими действиями могут быть санкционирование военных операций, нанесение случайного или преднамеренного материального вреда военными действиями, законодательные ограничения и другие ситуации, которые могут повлиять на возможность исполнения стороной договора своих обязательств.

В приведенных примерах именно решение, принятое государством, выступает определяющим фактором совершения соответствующих действий. Так, государство принимает законы, исходя из необходимости регулирования определенных общественных отношений, включая введение ограничений военного времени, равно как и осуществляет военные операции, руководствуясь задачами обеспечения мира и безопасности. Подобные действия совершаются органами, находящимися под контролем государства, и содержат выраженный волевой элемент, проявляющийся в выборе определенной модели поведения в условиях вооруженного конфликта. Само наличие такого волевого элемента, как правило, исключает возможность ссылки на форс-мажор применительно к подобным ситуациям. Следовательно, последствия действий государства, предполагающих возможность выбора между различными вариантами поведения, будут рассматриваться как обусловленные волей самого государства, что исключает применение защиты форс-мажора. Ситуации подобного рода могут оцениваться через призму состояния необходимости

(статья 25 Статей об ответственности государств), в рамках которого волевой элемент в действиях государства допустим, если такие действия направлены на защиту существенного интереса от большой и неминуемой опасности.

В ситуации причинения случайного вреда в результате военных действий необходимо, с учетом норм международного гуманитарного права, оценивать объективную возможность государства действовать исходя из имеющейся у него информации. Речь идет о соблюдении государством стандарта должной осмотрительности при выполнении правил ведения военных действий, включая различие целей, принятие мер предосторожности и иных требований международного гуманитарного права. Государства должны нести ответственность за действия своих вооруженных сил, вследствие чего у них отсутствует *carte blanche* в виде ссылки на «последствия войны», позволяющей избегать ответственности даже при отсутствии намерения причинить вред. Для квалификации вреда как случайного государство должно действовать добросовестно и проявлять должную осмотрительность, исключая преднамеренное причинение ущерба собственности инвестора. Случайный вред, причиненный в результате атак, не санкционированных государством и ставших следствием нарушений норм международного гуманитарного права, подпадает под логику ранее изложенной Дж. Кроуфордом и КМП позиции о невольном способствовании возникновению форс-мажора правомерными действиями, в отношении которых применяется пункт 2(a).

Исходя из изложенного, можно заключить, что влияние государства на возникновение форс-мажорной ситуации может быть как прямым, так и косвенным, однако в любом случае предполагает наличие воли государства, направленной на создание обстоятельств, делающих исполнение обязательств материально невозможным. При установлении такой воли необходимо выявить не только целенаправленный характер действий государства, обусловивших возникновение соответствующих обстоятельств, но и наличие противоправного поведения, послужившего основой их возникновения. Иные ситуации, в которых государство сознательно принимает решение нарушить соглашение, руководствуясь соображениями необходимости, не могут рассматриваться в контексте форс-мажора.

2.5. Принятие риска

Последним условием успешного применения форс-мажора как обстоятельства, исключающего противоправность, является отсутствие принятия государством риска возникновения соответствующих

форс-мажорных обстоятельств. Пункт 2(b) закрепляет данное условие в качестве гарантии против злоупотребления статьей 23 в ситуациях, когда бенефициар обязательства вправе обоснованно и добросовестно рассчитывать на его исполнение. Вопрос о необходимости защиты таких ожиданий особенно актуален в случаях, когда государство заранее принимает на себя риск ответственности за вред, причиненный неисполнением обязательства в условиях форс-мажора. Согласно общим принципам международного права, принятие такого риска лишает государство возможности ссылаться на обстоятельство, исключающее противоправность, поскольку подобное поведение может рассматриваться как противоречивое. Вместе с тем пункт 2(b) специально акцентирует данный запрет, благодаря чему судебная практика и доктринальные источники позволяют более детально раскрыть его содержание.

Во-первых, необходимо подчеркнуть важность института согласия в системе международного права как основного инструмента нормотворчества (Brunnée, 2022, para. 1). Нормативное согласие государств, формирующее их волю, — движущая сила, которая придает определенным правилам поведения обязательный характер.

В данном контексте принятие в отношении иных сторон инвестиционного договора обязательства по предоставлению соответствующей защиты инвесторам и отказ от ссылки на обстоятельства, исключающие противоправность, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, нужно рассматривать как волю государства обменять риск на дополнительное бремя компенсации, с одной стороны, с возможностью привлечения большего количества инвестиций за счет этих гарантий — с другой.

Что касается форм выражения такого согласия, КМП придерживается более широкого подхода, соответствующего общим правилам международного права о способах выражения воли государства. Согласно данному подходу, принятие риска по смыслу пункта 2(b) охватывает случаи согласия, выраженного либо посредством поведения государства (действия или бездействия), либо через односторонний акт[73]. В то же время принятие риска должно носить совершенно недвусмысленный характер и относиться к тем сторонам, перед которыми государство несет обязательство[74].

Следует отметить важность недвусмысленности формулировок и однозначности воли государства, направленной именно на достижение такого последствия. Не случайно в Комментариях к Статьям об

[73] Статьи об ответственности государств, комментарий 10 к статье 23.
[74] Там же.

ответственности государств указывается на высокий порог определенности волеизъявления, поскольку речь идет о фактическом отказе государства от субъективного права ссылаться на соответствующее обстоятельство, исключающее противоправность, на всем протяжении действия договора.

Далее следует обратиться к отдельным проблемным аспектам интерпретации воли государства при принятии риска в смысле пункта 2(b). Международные инвестиционные договоры нередко содержат положения[75], предусматривающие обязанность государства возместить ущерб, причиненный инвестициям на его территории вследствие войны, внутренних беспорядков или иных форс-мажорных обстоятельств, посредством так называемых военных оговорок (англ.: *war clauses*). Учитывая, что стандартные военные оговорки, как правило, закрепляют лишь гарантию недискриминационного режима и не создают самостоятельных обязательств по компенсации ущерба, в рамках настоящего исследования внимание будет сосредоточено на так называемых расширенных военных оговорках (англ.: *extended war clauses*). Последние предусматривают дополнительные гарантии возмещения в случаях уничтожения, повреждения или экспроприации имущества инвестора вследствие неправомерных действий, совершенных в условиях вооруженного конфликта. На первый взгляд подобные положения могут свидетельствовать об отказе государства от последующего обращения к форс-мажору и подтверждать его готовность нести ответственность за нарушение обязательств. Однако с учетом правовых последствий наступления форс-мажорных обстоятельств и особенностей института исключения противоправности, закрепленного в Проекте статей, возникает вопрос: можно ли рассматривать такие положения как принятие государством риска возникновения форс-мажорных обстоятельств, лишающее его возможности впоследствии ссылаться на форс-мажор как на обстоятельство, исключающее противоправность?

Детальный анализ обязательств государств и договорных положений, сходных с приведенными выше примерами, а также их толкование в соответствии с обычным значением использованных терминов позволяют раскрыть содержание согласия государств, выраженного в подобных формулировках. Оно заключается в намерении государств обеспечить

[75] См., например, Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic on the Promotion and Protection of Investments (Italy - Syrian Arab Republic BIT) (2002). Art. 4; Agreement between the Government of Hungary and the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (Hungary - Kyrgyzstan BIT) (2020). Art. 5; Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments (Myanmar - Singapore BIT) (2019). Art. 7.

инвесторам полную компенсацию вреда, причиненного их инвестициям, несмотря на возникновение затруднений и непредвиденных обстоятельств, включая форс-мажорные ситуации. Значение таких положений для государства проявляется в нескольких аспектах, прежде всего в предоставлении инвесторам гарантий того, что они не будут подвергнуты риску утраты имущества вследствие указанных чрезвычайных обстоятельств. Исходя из этого, можно заключить, что государства, по крайней мере в чистом виде, не отказываются от возможности ссылаться на форс-мажор как на обстоятельство, исключающее противоправность деяния. Данный вывод основан на принципиальном различии между последствиями нарушения договорных обязательств и последствиями причинения вреда инвестициям. Иными словами, стороны согласовали обязанность по выплате компенсации независимо от причин возникновения вреда. Однако само по себе это не свидетельствует об отказе государства от права ссылаться на обстоятельства, исключающие противоправность, в случае нарушения обязательств по предоставлению инвесторам соответствующих гарантий.

Таким образом, если государство не исполняет свое обязательство в рамках противоправного поведения, оно сталкивается с характерными для такого нарушениями последствиями и будет нести ответственность за неисполнение этих обязательств, которая может принимать разные формы. Нарушение договорных обязательств может служить основанием для прекращения или приостановления договора, что влечет за собой последствия, предусмотренные статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров, или иные последствия, предусмотренные первичными нормами данного договора. Примером нарушения договора в данном контексте может служить необеспечение должной защиты инвестиций, что может повлечь за собой приостановление или прекращение договора. Однако в таком случае возникает возможность ссылаться на обстоятельство, исключающее противоправность поведения государства при нарушении, в результате чего ответственность государства за само нарушение может быть исключена, а вместе с ней — и последствия, основанные на таком нарушении; в приведенном примере это означает возможность приостановления или прекращения договора. Следовательно, наличие форс-мажора способно исключить негативные последствия неисполнения обязательства, обусловленного наступлением непредвиденных обстоятельств.

По вопросу о компенсации следует отметить, что принимающее государство при наличии соответствующего обязательства обязано обеспечивать защиту инвестиций, а в случае причинения неправомерного

ущерба — компенсировать его независимо от того, исключается ли ответственность государства за нарушение обязательства по защите. В данном контексте важно учитывать различие между форс-мажором как обстоятельством, исключающим противоправность, и форс-мажором как ситуацией, изменяющей пределы требуемой должной осмотрительности (*due diligence*), о чем говорилось выше (см. Zrilic, 2019, pp. 14–22). Обязанность по выплате компенсации не зависит от того, исключается ли ответственность за нарушение договора. Государство в любом случае обязано возместить причиненный ущерб, если оно не проявило должной осмотрительности.

Из вышесказанного можно заключить, что положения о намерении государств предоставить полную компенсацию за ущерб, нанесенный войной, внутренними беспорядками или иными форс-мажорными ситуациями (англ.: *war clauses*) означают лишь готовность государств расширить рамки защиты и компенсации, не касаясь вопроса форс-мажора как обстоятельства, исключающего противоправность, тем самым не отрицая возможности ссылки на форс-мажор для исключения противоправности. В итоге такие положения не являются принятием риска возникновения форс-мажорной ситуации по смыслу статьи 23(2)(b) Статей об ответственности государств, и в таких случаях форс-мажор продолжает быть возможной защитой для исключения ответственности за нарушение обязательства.

Сравним вышеизложенный подход с практикой трибуналов по инвестиционным делам. Например дело *Güriş*[76], где трибунал обратился к двустороннему инвестиционному договору между Италией и Сирией, в статье 4 которого государства обязались в случае войны, других форм вооруженного конфликта, чрезвычайного положения, гражданских беспорядков или других подобных событий компенсировать убытки инвесторов, независимо от того, какая сторона конфликта нанесла этот ущерб[77]. Отметим, что в этой статье не говорится о возможности исключения ответственности за неисполнение обязательств или об отказе на ссылку к обстоятельствам, исключающим противоправность. То есть, перед нами пример обязательства государств компенсировать убытки инвесторов вне зависимости того, есть ли в этих убытках их вина или нет. Приняв такое обязательство, государства тем самым расширили пределы

[76] *Mr Idris Yamantürk, Mr Tevfik Yamantürk, Mr Müşfik Hamdi Yamantürk and Güriş İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi (Güriş Construction and Engineering Inc.) v. Syrian Arab Republic*. ICC Case No. 21845/ZF/AYZ. Final Award. 31 August 2020.

[77] Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic on the Promotion and Protection of Investments (Italy - Syrian Arab Republic BIT) (2002). Art. 4.

своей ответственности и, по существу, отказались от применения порога должной осмотрительности, согласившись нести ответственность за причиненный вред независимо от причин его возникновения. В контексте настоящего исследования можно утверждать, что государство сохраняет право ссылаться на вооруженный конфликт как на форс-мажорное обстоятельство, исключающее противоправность неисполнения обязательств по ДИД. Однако трибунал занял иную позицию. Анализируя доводы ответчика, который, не исполнив обязательство по выплате денежной компенсации, ссылался на войну в Сирии как на форс-мажорное обстоятельство и состояние необходимости в качестве основания неисполнения, трибунал отметил следующее: «ответчик не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в отношении того риска, от последствий которого он обязался предоставить защиту». Наряду с недостаточностью доказательств наличия указанных обстоятельств трибунал также пришел к выводу о неприменимости ссылки ответчика на обстоятельства, исключающие противоправность, поскольку государство приняло на себя риск возникновения соответствующих обстоятельств.

В деле *Güriş* обращает на себя внимание отождествление трибуналом двух концепций форс-мажора, следствием чего становится некорректное толкование статьи 4 ДИД и неполная оценка возможности применения защиты форс-мажора. Учитывая, что трибунал также не нашел достаточных доказательств наступления форс-мажорных обстоятельств или ситуации необходимости, сложно сказать, насколько такая интерпретация повлияла на исход дела. Тем не менее позиция трибунала позволяет предположить, что практике применения форс-мажора не достает единообразия.

Интересно также то, что практике известна возможность принять риск форс-мажора частично, то есть исключая некоторые его элементы. Например, в уже упомянутом деле *Gujarat v. Yemen*[78] трибунал обратился к широкой трактовке положения о форс-мажоре согласно договору сторон, где предсказуемость не была отражена как условие такового. Таким образом, исключив элемент предсказуемости, стороны взяли на себя дополнительный риск невозможности ссылки на форс-мажор при возникновении ситуации, которая была предсказуема на момент заключения соглашения.

В данном контексте следует также обратиться к оговоркам об исключениях в сфере безопасности (англ.: *security exceptions*), которые формулируются по-разному, но чаще всего включаются в инвестиционные

[78] *Gujarat State Petroleum Corporation Limited v. the Republic of Yemen and the Yemen Ministry of Oil and Minerals*. Op. cit.

соглашения в виде положений о том, что «ничто в договоре не должно препятствовать» государству принимать меры, направленные на защиту интересов национальной и международной безопасности, а также иных жизненно важных интересов государства (Ackermann, 2022, pp. 218–219). Такие оговорки не только отличаются по своему содержанию, но и не формулируют единого подхода к определению их правовых последствий, что порождает многочисленные споры. Если интерпретировать данные оговорки как гарантию договорной защиты интересов государства, исключающую применение договора в определенных ситуациях (Henckels, 2020, p. 374), то можно утверждать, что они действуют в иной плоскости по сравнению с форс-мажором как обстоятельством, исключающим противоправность. Это обусловлено тем, что для исключения противоправности необходимо наличие нарушенного обязательства, тогда как при исключении применения договора соответствующее обязательство в рассматриваемый период не действует. В любом случае стандартная формулировка оговорок о безопасности подразумевает наличие волевого элемента со стороны государства при принятии мер по защите своих интересов, тогда как форс-мажор, напротив, предполагает отсутствие такого волевого элемента. Это сближает оговорки об исключениях безопасности скорее с состоянием необходимости, нежели с форс-мажором.

Резюмируя вопрос о принятии риска, обратимся к классическому делу от 1647 года *Paradine v. Jane*, где трибунал достаточно консервативно и резко высказался относительно принятия риска исполнять обязательства в условиях непредвиденных обязательств, указав: «Вам не следовало быть настолько глупым, чтобы давать абсолютные обещания, и вам придется заплатить за свою глупость» (Buckland, McNair, 1936, pp. 242–243). Сегодня государства берут на себя дополнительные обязательства по защите инвестиций не по глупости, а основываясь на оценке возможностей, которые дополнительные гарантии дадут их экономике, и соотнося эти возможности с потенциальными рисками. При выражении воли на принятие риска важно недвусмысленно сформулировать именно ту позицию, которая позволит достичь желаемого правового эффекта. Для этого, в первую очередь, необходимо четко разграничить намерение расширить объем ответственности, основанной на стандарте должной осмотрительности, и намерение отказаться от возможности ссылаться на форс-мажор как на обстоятельство, исключающее противоправность нарушения инвестиционного договора.

Заключение

Отвечая на основной исследовательский вопрос настоящей статьи — «в каких случаях вооруженный конфликт может квалифицироваться как форс-мажорное обстоятельство, исключающее противоправность» — можно заключить, что вооруженный конфликт способен приобретать характер такого обстоятельства лишь в исключительных случаях, когда он делает исполнение конкретного обязательства материально невозможным и при этом не оставляет государству реальной альтернативы поведения. Определяющее значение имеет не сам факт войны или правомерность применения силы, а ее конкретное воздействие. Это воздействие должно быть непредвидимым либо непреодолимым именно в той части, которая сделала исполнение данного обязательства невозможным, а также находиться вне эффективного контроля государства. При этом решающим сдерживающим фактором остается отсутствие обусловленности невозможности поведением самого государства. Если невозможность стала следствием выбора государством определенной модели поведения, а также нормативных решений или военных действий, содержащих волевой элемент, возможность ссылки на форс-мажор, как правило, исключается. Кроме того, защита не применяется, если государство недвусмысленно приняло на себя риск соответствующих обстоятельств. Военные оговорки о компенсации ущерба сами по себе не означают отказ от форс-мажора в отношении нарушений иных обязательств, если только такой отказ прямо не выражен. Таким образом, форс-мажор в условиях вооруженного конфликта остается узким и строго проверяемым основанием для освобождения от ответственности, применимым лишь при доказанности всех его элементов. И хотя наличие этого основания дает государству некоторые возможности, строгие рамки его применения вкупе с освобождением от ответственности за нарушение, но не за компенсацию убытков, ставят форс-мажор на последнюю линию обороны от исков инвесторов.

Список литературы / References

1. Лукашук, И. И. (2005). Международное право. Особенная часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов (3-е изд., перераб. и доп.). Волтерс Клувер.
   Lukashuk, I. I. (2005). International law. Special part: textbook for law students (3rd ed., rev. and enl.). Wolters Kluwer.
2. Ackermann, T. (2022). *The Effects of Armed Conflict on Investment Treaties.* Cambridge University Press.
3. Antokoletz, D. (1944). Tratado de derecho internacional público: en tiempo de paz y en tiempo de guerra (4a ed.). Bernabé.

4. Bercaitz, M. A. (1980). *Teoría general de los contratos administrativos* (2nd ed.). Depalma.
5. Buckland, W. W., & McNair, A. (1936). Roman law and common law. Cambridge University Press.
6. Brunnée, J. (2022). Consent. Max Planck Encyclopedias of International Law. https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1388.
7. Crawford, J. (2012). Brownlie's principles of public international law (8th ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1163/157365104X00143
8. Gerkens, J.-F. (2005). Vis maior and vis cui resisti non potest. In R. Van den Bergh & G. Van Niekerk (Eds.), Ex iusta traditum: essays in honour of Eric H Pool. University of South Africa.
9. Kaczorowska-Ireland, A. (2015). Public international law (5th ed.). Routledge.
10. Kiss, A. (1962). Répertoire de la pratique française en matière de droit international public. CNRS.
11. Klüber, J.-L. (1874). Droit des gens moderne de l'Europe (2e éd.). Pedone-Lauriel.
12. Marienhoff, M. (1983). Tratado de derecho administrativo (4th ed.). Badell.
13. Paddeu, F. (2011). A genealogy of force majeure in international law. *British Yearbook of International Law, 82*(1), 381–494.
14. Paddeu, F. (2018). Justification and excuse in international law: concept and theory of general defences. Cambridge University Press.
15. Study by the Secretariat. (1978). Force majeure and fortuitous event as circumstances precluding wrongfulness: survey of State practice, international judicial decisions and doctrine. Yearbook of the International Law Commission, 1978, Vol. II (Part One), UN Doc. A/CN.4/315 (Part 1).
16. Zrilic, J. (2019). Armed conflict as force majeure in international investment law. *Manchester Journal of International Economic Law, 16*(1), 28–56.

Научная статья / Research Article
https://doi.org/10.17323/jil.2026.39142

ДИСКУССИЯ | DISCUSSION

Международная защита прав человека в России после выхода из Совета Европы: возможности и пределы альтернативных механизмов

А. А. Лунёв[1], Н. А. Лепёхин[2]

1 Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, Екатеринбург, Россия
a.a.lunyov@usla.ru
ORCID: 0000-0001-8714-5146

2 Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, Екатеринбург, Россия
n.a.lepyokhin@usla.ru
ORCID: 0009-0000-5928-1968

Аннотация

Часть 3 статьи 46 Конституции России гарантирует каждому право на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека, если исчерпаны все доступные внутригосударственные средства правовой защиты — право, которое на протяжении более двух десятилетий ассоциировалось главным образом с возможностью обращения россиян в Европейский Суд по правам человека (далее — ЕСПЧ). После прекращения участия России в Совете Европы реализация этой конституционной гарантии будто бы «повисла в воздухе»: с одной стороны, граждане лишены доступа к полноценному международному суду, а с другой — сохраняется возможность обращения в иные международные, но квазисудебные органы, такие как правозащитные органы ООН и, потенциально, Комиссия по правам человека СНГ. Хотя эти механизмы не представляют собой равноценной альтернативы Европейскому Суду — ни по юридической природе, ни по уровню институциональной проработанности, ни по эффективности исполнения решений, — участие России в них остается принципиально важным для обеспечения защиты фундаментальных прав ее граждан. В настоящем исследовании авторы анализируют, почему механизмы ООН и СНГ не могут стать полноценной «заменой» ЕСПЧ помимо уже перечисленных обстоятельств, а также обозначают возможные пути укрепления сотрудничества с международными органами и повышения результативности взаимодействия с ними. Особое внимание в работе уделено нерешенным вопросам,

связанным с наследием ЕСПЧ, которые сохраняют актуальность для отечественной правовой науки, несмотря на выход страны из юрисдикции Европейского Суда более четырех лет назад. Авторы приходят к выводу, что международные механизмы защиты прав человека доказали свою важность и эффективность для российской правовой системы, выступая ключевым внешним элементом гарантирования конституционных прав. В этих условиях развитие и укрепление оставшихся альтернативных международных процедур представляется не только желательным, но и необходимым для полноценной реализации конституционной гарантии доступа к международным средствам правовой защиты.

Ключевые слова: международная защита прав человека, Европейский Суд по правам человека, договорные органы ООН по правам человека, право на обращение в межгосударственные органы, Комитет ООН по правам человека

Для цитирования: Лунёв А. А., Лепёхин Н. А. Международная защита прав человека в России после выхода из Совета Европы: возможности и пределы альтернативных механизмов. *Журнал ВШЭ по международному праву / HSE University Journal of International Law.* 2026. Том 4. № 1. С. 62–85.

[1]**Андрей Алексеевич Лунёв** — кандидат юридических наук, доцент.

[2]**Никита Андреевич Лепёхин** — аспирант кафедры международного права, юрисконсульт Юридического управления.

International human rights protection in Russia after leaving the Council of Europe: opportunities and limits of alternative mechanisms

A. A. Lunev,[1] N. A. Lepyokhin[2]

1 The Ural State Law University named after V. F. Yakovlev, Ekaterinburg, Russia
a.a.lunyov@usla.ru
ORCID: 0000-0001-8714-5146

2 The Ural State Law University named after V. F. Yakovlev, Ekaterinburg, Russia
n.a.lepyokhin@usla.ru
ORCID: 0009-0000-5928-1968

Abstract

Article 46(3) of the Constitution of the Russian Federation guarantees everyone the right to apply to inter-State bodies for the protection of human rights if all domestic remedies have been exhausted. For more than two decades, this right was primarily associated with

the ability of Russian citizens to apply to the European Court of Human Rights (hereinafter — ECHR). After Russia ceased to participate in the Council of Europe, the implementation of this constitutional guarantee has been left «up in the air»: on the one hand, individuals have lost access to a full-fledged international court, and on the other hand, they may still apply to quasi-judicial international bodies, such as the UN human rights bodies and potentially the CIS Human Rights Commission. Although these mechanisms do not constitute an equivalent alternative to the European Court — neither in terms of their legal nature, nor in their level of institutional elaboration, nor in the effectiveness of the implementation of their decisions — Russia's participation remains fundamentally important for ensuring the protection of the fundamental rights of its citizens. In the present study, the authors analyse why the UN and CIS mechanisms cannot become a full "replacement" for the ECHR, beyond previously noted factors, and also indicate possible ways of strengthening cooperation with international bodies and enhancing the effectiveness of interaction with them. This study places special emphasis on the unanswered questions concerning the ECHR's impact, which remain relevant for Russian legal scholarship despite the country's withdrawal from the jurisdiction of the European Court more than four years ago. The authors conclude that international mechanisms for the protection of human rights have demonstrated their value and efficiency within the Russian legal framework, acting as a key external element in guaranteeing constitutional rights. In these conditions, the development and strengthening of the remaining alternative international procedures appear necessary and desirable for the complete fulfillment of the constitutional guarantee of access to international remedies for the protection of rights.

Key words: international human rights protection, European Court of Human Rights, UN treaty bodies, right to apply to inter-State bodies, UN Human Rights Committee

Citation: Lunev A., Lepyokhin N. International human rights protection in Russia after leaving the Council of Europe: opportunities and limits of alternative mechanisms. *HSE University Journal of International Law*. 2026. Vol. 4. No. 1. P. 62–85.

[1]**Andrey A. Lunev** — candidate of sciences in law, associate professor at the International Law department.
[2]**Nikita A. Lepyokhin** — doctoral student at the International Law department; legal counsel at the Legal department.

Введение: право россиян на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека, гарантированное Конституцией

Хотя Конституция России (далее также — Конституция) формально сохраняет принципиальную открытость международному праву (Лихачев, 2025, с. 69), в последнее десятилетие прослеживается тенденция к сворачиванию политики взаимодействия с международными институтами, что проявляется в действиях российских властей (Марочкин, 2023, с. 30). Так, в 2020 году в статьи 79 и 125 Конституции были внесены поправки,

допускающие неисполнение решений межгосударственных органов, в случае если их противоречие Конституции установлено Конституционным Судом Российской Федерации (далее — Конституционный Суд). Вместе с тем иные «международно-ориентированные» положения Конституции, содержащиеся преимущественно в главах 1 и 2, изменений не претерпели. Объясняется это, однако, не столько желанием сохранить имеющуюся редакцию, сколько особым «незыблемым» конституционным статусом положений этих глав[1].

В контексте защиты прав человека особая роль принадлежит не только части 4 статьи 15 Конституции, закрепляющей приоритет международных договоров над национальным законодательством (Исполинов, 2017, с. 74), но и статье 17, открывающей главу 2 о правах и свободах человека и гражданина, а также части 3 статьи 46 Конституции. Так, часть 1 статьи 17 устанавливает, что права и свободы в России признаются в первую очередь согласно с общепризнанными принципами и нормами международного права, отводя конституционным положениям почетное второе место. Эта редакция — не упущение авторов Конституции, а их осознанное решение[2]. Как отмечает А. И. Ковлер, при разработке Конституции «правозащитный» раздел был делегирован либерально-демократической группе участников Конституционного совещания (Ковлер, 1996, с. 23–34), что предопределило ориентацию на новую правозащитную парадигму и отрыв от советской идеологической традиции, признававшей только обретенные (октроированные) права граждан.

Еще один смелый и весьма прогрессивный шаг разработчиков Конституции — закрепление в части 3 статьи 46 права каждого обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Эта гарантия, разработанная по аналогии со статьями 13 («Право на эффективное средство правовой защиты») и 35 («Условия приемлемости») Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — ЕКПЧ, Конвенция) (Ковлер, 2019, с. 12), отражала стремление России интегрироваться в европейское правовое пространство и подтвердить готовность признать юрисдикцию международных органов, прежде всего Европейского Суда по правам

---

[1] Статья 135 Конституции РФ устанавливает, что положения глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Для их изменения требуется поддержка 3/5 голосов парламентариев, после чего созывается Конституционное Собрание. Оно может либо подтвердить неизменность Конституции, либо разработать новый проект, который принимается 2/3 голосов Собрания или выносится на всенародное голосование.

[2] См. подробнее о дискуссии разработчиков ст. 17 российской Конституции: (Лихачев, 2020, с. 38–40).

человека (далее — ЕСПЧ, Европейский Суд)[3]. Хотя впервые страна подала заявку на вступление в Совет Европы в 1992 году, вопрос о ее вхождении в «общеевропейский дом» обсуждался еще в поздний советский период[4]. Данная гарантия выглядела особенно новаторской в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда индивидуальные обращения в европейские органы только набирали популярность и не стали общепринятой практикой. Несмотря на отсутствие абсолютной уверенности в скором вступлении России в организацию (Энтин, 1996, с. 100), разработчики сочли необходимым закрепить это право на конституционном уровне[5]. Их подход нашел отражение не только в российской Конституции, но и в основных законах других государств — бывших республик СССР, которые также намеревались признать юрисдикцию Европейского Суда[6].

После вступления России в Совет Европы часть 3 статьи 46 Конституции связывали прежде всего с возможностью обращения граждан в ЕСПЧ. Однако Россия продолжала сотрудничество и с другим международным правозащитным механизмом — Комитетом ООН по правам человека (далее — Комитет, КПЧ ООН), юрисдикцию которого по рассмотрению индивидуальных жалоб Советский Союз признал еще в 1991 году[7]. Тем самым европейская система защиты прав человека была для россиян не единственной и даже не первой. При этом Комитет, как и другие договорные органы ООН по правам человека, не является международным судом *stricto sensu*, что, на первый взгляд, может поставить под сомнение эффективность гарантии судебной защиты по статье 46 Конституции. Хотя

---

[3] По замечанию Т. Г. Морщаковой, глава 2 Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина была основана на положениях ЕКПЧ. Это позволило России присоединиться к Совету Европы, так как ее Конституция уже содержала внушительный перечень прав и свобод, отвечающий международным стандартам (Морщакова, 2016, с. 182).

[4] История участия Российской Федерации в Совете Европы. Сайт Постоянного представительства Российской Федерации при Совете Европы: https://coe.mid.ru/istoria-ucastia-rossii-v-sovete-evropy.

[5] Примечательно, что в отношении части 3 статьи 46 Венецианская комиссия отметила: «[х]отя это положение является новаторским и прогрессивным по духу, было бы разумнее не включать его в текст Конституции», поскольку «этот деликатный вопрос регулируется непосредственно самими международными договорами» (Заключение Венецианской комиссии…, 2018, с. 33).

[6] См., например, ч. 2 ст. 61 Конституции Республики Армения 1995 года («каждый в соответствии с международными договорами Республики Армения имеет право на обращение в международные органы по защите прав и свобод человека с прошением о защите своих прав и свобод»); ч. 3 ст. 55 Конституции Украины 1996 года («каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина»).

[7] Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2305-I «О признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 Международного пакта о гражданских и политических правах». Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 29. ст. 843.

решения договорных органов формально носят рекомендательный характер и не обладают обязательной юридической силой, это не означает, что их игнорирование не противоречило бы добровольно принятым государством международным обязательствам (Автономов, 2013, с. 93). Более того, в 2012 году Конституционный Суд признал: соображения КПЧ ООН о нарушении прав человека могут служить основанием для пересмотра дела российскими судами по новым обстоятельствам[8].

На протяжении почти тридцати лет деятельность правозащитных органов системы ООН оставалась в тени Европейского Суда: их акты значительно реже анализировались отечественной доктриной и применялись судами на практике. Но после выхода России из Совета Европы в 2022 году именно эти механизмы приобрели особое значение в качестве единственной альтернативной системы международной защиты прав. Одновременно актуализировалась и идея создания нового, а точнее — возрождения забытого старого регионального механизма в рамках Содружества Независимых Государств — Комиссии по правам человека СНГ (далее — Комиссия СНГ). В этих условиях исследование конституционной гарантии, закрепленной частью 3 статьи 46, приобретает особую актуальность и требует переосмысления ее содержания и практического значения в новых политико-правовых реалиях.

1. Европейский Суд и Россия: разошлись, но не простились

Закрепленная в ФЗ «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» позиция России заключается в том, что ЕКПЧ прекратила свое действие в отношении России 16 марта 2022 года. Однако позиция Европейского Суда состоит в том, что участие России в ЕКПЧ завершилось 16 сентября 2022 года[9].

---

[8] В частности, в Определении от 28 июня 2012 г. № 1248-О, связанном с исполнением соображений Комитета ООН по правам человека, Конституционный Суд прямо связал право, гарантированное частью 3 статьи 46 Конституции РФ, с обязанностью государства адекватно реагировать на решения международных правозащитных органов. Суд указал, что Российская Федерация «не вправе уклоняться от адекватного реагирования» на такие решения. Иное не только поставило бы под сомнение соблюдение Россией принятых на себя международных обязательств, «но и обессмысливало бы вытекающее из статьи 46 (часть 3) Конституции Российской Федерации право каждого обращаться … в [международный орган], если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты». См. подробнее: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 1248-О «По жалобе гражданина Хорошенко А. А. на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

[9] Resolution of the European Court of Human Rights on the consequences of the cessation of membership of the Russian Federation to the Council of Europe in light of Article 58 of the European Convention on Human Rights, 22 March 2022.

Предположительные нарушения прав и свобод, защищаемых Конвенцией, совершенные после этой даты, уже не подлежат рассмотрению ЕСПЧ. Вместе с тем в Суде продолжается рассмотрение жалоб, связанных с событиями, произошедшими до этой даты: по состоянию на конец 2025 года около семи тысяч таких обращений против России все еще ожидают своего рассмотрения[10]. По оценке А. С. Исполинова, «Суд с его сегодняшней скоростью закончит рассматривать российские жалобы только к концу 2020-х годов»[11], при этом сама Российская Федерация не принимает и, по всей видимости, не будет принимать участия в рассмотрении этих дел.

Выход России из Совета Европы и последующая денонсация Конвенции ознаменовали беспрецедентный поворот во взаимодействии российского и европейского правопорядков. Однако этот институциональный разрыв не привел к немедленному исчезновению сформировавшейся за десятилетия системы защиты прав человека. Напротив, начался сложный переходный период, для которого характерна устойчивая коллизия между сохраняющейся юрисдикцией Европейского Суда по так называемым «старым делам» и новой правоприменительной практикой в России. Анализ складывающейся ситуации позволяет выделить два ключевых вектора развития: во-первых, эволюцию подходов ЕСПЧ к определению пределов своей компетенции в отношении дел против России и, во-вторых, трансформацию практики российских судов.

Как уже отмечалось, ЕСПЧ продолжает рассматривать жалобы, поданные против России до 16 сентября 2022 года, в обычном порядке. Большая Палата в постановлении по делу *Fedotova and Others v. Russia* подтвердила, что Суд сохраняет юрисдикцию в отношении предполагаемых нарушений, имевших место до указанной даты[12]. В то же время ЕСПЧ прямо указал, что жалобы на действия или бездействие, имевшие место после этой даты, не подпадают под его юрисдикцию и подлежат отклонению в соответствии со статьей 35 Конвенции. Так, в деле Казусева[13], оспаривавшего указ о «частичной мобилизации» от 21 сентября 2022 года, жалобу отклонили, поскольку оспариваемый акт был принят уже после прекращения участия России в Конвенции.

---

10 Annual Report 2025 of the European Court of Human Rights. Council of Europe: https://www.echr.coe.int/annual-reports.

11 Исполинов, А. С. (2022, 17 июня). Логика военного времени: федеральный закон о неисполнении решений ЕСПЧ. *Zakon.ru*. https://zakon.ru/blog/2022/06/17/logika_vojny_federalnyj_zakon_o_neispolnenii_reshenij_espch.

12 ECtHR. *Fedotova and Others v. Russia* [GC], Applications nos. 40792/10, 30538/14 and 43439/14, judgment of 17 January 2023.

13 ECtHR. *Pivkina and Others v. Russia*, Application № 59532/00, judgment of 6 June 2023. § 14.

В отношении жалоб на нарушения, имевшие место до выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ, но по которым судебные разбирательства на национальном уровне продолжались или были завершены после 16 сентября 2022 года, Европейский Суд опирается на устоявшуюся практику применения *ratione temporis*. В ее основе лежит принцип, согласно которому юрисдикция Суда определяется моментом предполагаемого нарушения, а не датой окончания внутреннего судебного процесса[14], что было отражено в решении по делу *Pivkina and Others v. Russia.* Однако из этого правила существует важное исключение, касающееся жалоб на нарушение права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции). Поскольку в таких случаях предметом жалобы является сам судебный процесс, для целей *ratione temporis* ключевое значение имеет дата вынесения итогового решения национальным судом, что было подтверждено, в частности, в решении по делу *Klimentyev v. Russia*[15].

Такой подход исключает для государства-ответчика возможность избежать ответственности за ранее допущенные нарушения путем затягивания внутренних процедур или односторонней денонсации Конвенции. Кроме того, ЕСПЧ напомнил о своей ключевой роли в системе защиты прав, сославшись на то, что «способность Суда определять свою собственную юрисдикцию имеет основополагающее значение для системы защиты, предусмотренной Конвенцией»[16]. Суд подчеркнул: присоединившись к Конвенции, государства-участники приняли на себя обязательство соблюдать не только ее основные, но и процедурные положения, включая статью 32, которая наделяет его исключительными полномочиями по разрешению споров о своей юрисдикции. Таким образом, Суд прямо указал, что его юрисдикция не может быть ограничена односторонними актами государства. В частности, это относится к Федеральному закону от 11 июня 2022 года № 183-ФЗ[17], который стремится ограничить юрисдикцию ЕСПЧ *ex post facto*.

Россия, в свою очередь, закрепила в пункте 1 статьи 7 упомянутого Федерального закона положение о том, что постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению на ее территории. Формально-юридически это означает прекращение исполнения решений Суда с момента уведомления о выходе России из Совета Европы. Однако на практике в российском правопорядке

---

14 ECtHR. *Blečić v. Croatia*, Application no. 2134/23, judgment of 29 July 2004.

15 ECtHR. *Klimentyev v. Russia*, Application no. 46503/99, judgment of 21 January 2023.

16 ECtHR *Pivkina and Others v. Russia*, Application № 59532/00, judgment of 6 June 2023. § 45.

17 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 11.06.2022 № 183-ФЗ.

сохраняется некоторая правовая неопределенность. Она обусловлена тем, что вплоть до 9 декабря 2025 года (то есть более трех лет с момента выхода) действовало Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 27 июня 2013 года, которое предписывало судам учитывать правовые позиции ЕСПЧ, содержащиеся в окончательных постановлениях, вынесенных в отношении России[18]. Более того, Верховный Суд РФ продолжает обращать внимание на подходы ЕСПЧ в некоторых обобщениях практики и правовых позициях международных договорных органов[19], что свидетельствует о сохраняющемся методологическом влиянии Европейского Суда вопреки установленным законодательным ограничениям[20].

Эта позиция отчасти нашла отражение и в судебной практике. Так, в Постановлении № 23-П24 от 18 декабря 2024 года Президиум ВС РФ признал допустимым возобновление уголовного дела по заявлению О. И. Николенко, поскольку Европейский Суд установил нарушение прав Николенко до прекращения действия Конвенции в отношении России[21]. Верховный Суд прямо сослался на постановление ЕСПЧ от 16 февраля 2022 года, признав его новым обстоятельством, позволяющим пересмотреть дело. Тем самым было подтверждено, что решения ЕСПЧ, вынесенные до 15 марта 2022 года, продолжают иметь юридическое значение. В то же время заявитель по данному делу смог добиться лишь частичного восстановления своих прав, поскольку на текущий момент он лишен возможности получить причитающуюся ему справедливую

---

[18] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». См. также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 (ред. от 5 марта 2013 г.) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», абз. 3 п. 10. Утратили силу на основании Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2025 г. № 33.

[19] См. например, Верховный Суд Российской Федерации, Управление систематизации законодательства и анализа судебной практики (2025). Обобщение практики и правовых позиций отдельных международных договорных и внедоговорных органов ООН по вопросам защиты права лица не подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию [Аналитический обзор], с. 111.

[20] Такая правовая двойственность находит отражение и в публичных заявлениях представителей судебной власти. Так, начальник отдела международного права Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ Б. Л. Зимненко в своей лекции 3 декабря 2024 года в РУДН указал, что российские суды открыты для «классического, разумного и обоснованного международного права». Однако на вопрос о том, не противоречит ли отказ от исполнения решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, принципу *pacta sunt servanda*, он ответил, что Россия будет исполнять только те постановления, которые приняты до этой даты.

[21] Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2024 г. № 23-П24 Обстоятельства: О возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств.

компенсацию в размере 1,5 тыс. евро. Это связано с буквальным толкованием пункта 3 статьи 6 Федерального закона № 183-ФЗ, который установил, что Генеральная прокуратура РФ осуществляет выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года включительно, только до 1 января 2023 года. По всей видимости, законодатель подразумевал, что в рамках установленного переходного периода заявители должны были не только обратиться в Генпрокуратуру, но и успеть получить денежную компенсацию.

При этом в ситуациях, когда постановления ЕСПЧ вынесены после 15 марта 2022 года, заявители повсеместно сталкивались с полным отказом от их исполнения. Показателен, хотя и нетипичен, пример решения Тверского районного суда города Москвы от 21 декабря 2022 года[22]. В данном решении суд констатирует: Конвенция прекратила свое действие в отношении России 16 сентября 2022 года, что соответствует позиции самого ЕСПЧ и расходится с официальной позицией России, и даже цитирует положение о том, что денонсация не освобождает государство от ответственности за предыдущие нарушения. Казалось бы, формальным основанием для отказа в справедливой компенсации могла бы стать простая ссылка на Федеральный закон № 183-ФЗ в рамках устоявшейся практики[23]. Однако вместо этого районный суд, выходя за рамки сугубо юридической аргументации, прямо увязывает вопрос исполнения международных обязательств с «геополитической ситуацией» и «мерами противодействия угрозам», утверждая, что Совет Европы «превратился в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода». Подобная аргументация представляется необычной для судебных актов и демонстрирует тенденцию к включению в правовое обоснование элементов политико-идеологического дискурса. В результате юридический анализ отчасти уступает место более широким оценочным суждениям, что может вызывать вопросы относительно убедительности и правовой строгости подобного обоснования.

Все же судам общей юрисдикции при рассмотрении подобных дел следует руководствоваться действующим законодательством — федеральными законами № 183-ФЗ и № 180-ФЗ, а также учитывать позицию Конституционного Суда, который в ряде определений подтвердил

---

[22] Тверской районный суд г. Москвы Решение по делу № 2а-1450/2022 от 21 декабря 2022 г.

[23] См. например: Воронежский областной суд Решение по делу № 33а-1626/2023 от 21 марта 2023 г.; Верховный Суд Республики Татарстан. Судебная коллегия по административным делам Апелляционное определение № 33а-10326/2023 от 16 июня 2023 г.

конституционность этих законов[24]. Конституционный Суд указал, что прекращение членства России в Совете Европы 16 марта 2022 года автоматически повлекло прекращение действия Европейской конвенции, а федеральный законодатель обладал дискреционными полномочиями для установления переходных правил и прекращения исполнения постановлений ЕСПЧ, вынесенных после этой даты. Примечательно, что Конституционный Суд избегает прямой оценки соответствия данных норм части 4 статьи 15 и части 3 статьи 46 Конституции, ограничиваясь утверждением о правомочности законодателя. Такой подход позволяет уйти от обсуждения возможной коллизии между международными обязательствами России и национальным законодательством, сведя вопрос к формальным аспектам прекращения действия международного договора.

В то же время позиция Конституционного Суда вызывает вопросы с точки зрения защиты прав заявителей, прежде всего в части правовой неопределенности статуса решений ЕСПЧ, вынесенных в переходный период, и механизмов защиты прав российских граждан на национальном уровне. Нередко представители профессионального юридического сообщества высказывают предположение, что после денонсации Конвенции Конституционный Суд якобы не вправе ссылаться на практику ЕСПЧ, поскольку она больше не является составной частью правовой системы. Однако практика самого Конституционного Суда опровергает этот тезис. Суд неоднократно ссылался не только на акты рекомендательного характера, такие как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, но и на положения международных договоров, участницей которых Россия никогда не являлась, например, на Американскую конвенцию о правах человека 1969 года (при обосновании тенденции к отмене смертной казни[25]). Это позволяет сделать вывод, что ничто не препятствует использованию Конституционным Судом правовых позиций ЕСПЧ как источника понимания общепризнанных принципов и норм международного права, особенно когда они содержат высокие правозащитные стандарты.

---

[24] Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 3565-О; от 25 апреля 2023 г. № 1018-О; от 31 октября 2023 г. № 2748-О; от 30 ноября 2023 г. № 3245-О; от 25 июня 2024 г. № 1731-О.

[25] Пункт 4.1 Определения Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года “О порядке введения в действие Закона Российской Федерации “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях”».

2. «Время и бремя» для альтернативных механизмов

Выход России из-под юрисдикции Европейского Суда не лишил российских граждан доступа к международным механизмам защиты прав. Государство продолжает участвовать в работе семи договорных органов ООН по правам человека, признавая компетенцию четырех из них рассматривать индивидуальные сообщения[26]. Кроме того, Россия также участвует в работе Совета ООН по правам человека в статусе наблюдателя[27] и его специальных процедурах, в частности в Рабочей группе по произвольным задержаниям, мнения которой могут служить основанием для пересмотра судебных дел по новым обстоятельствам[28]. Параллельно российская сторона инициирует развитие Комиссии по правам человека СНГ, которая в перспективе будет полномочна рассматривать обращения физических лиц[29]. Хотя все эти органы являются не судебными, а квазисудебными, как уже отмечалось, по логике Конституционного Суда, это не препятствует гражданам реализовывать свою конституционную гарантию, закрепленную в части 3 статьи 46 Конституции. Вместе с тем очевидно, что именно такой формат отвечает интересам современных российских властей: обращения в эти органы подаются реже, чем в Европейский Суд, а их акты носят в основном рекомендательный, а не обязательный характер, — в отличие от постановлений ЕСПЧ, что создает возможности для выборочного и более гибкого их исполнения.

---

[26] Это Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет против пыток.

[27] См, например, информацию о 61-й сессии Совета ООН по правам человека на сайте МИД: https://mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/2082082.

[28] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 1276-О *«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Матвеева Д.В. на нарушение его конституционных прав положениями статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»*.

[29] В редакции Положения о Комиссии по правам человека СНГ 2022 года ее компетенция *ratione personae* ограничена физическими лицами и государствами, однако процедура рассмотрения индивидуальных и межгосударственных обращений до настоящего времени не утверждена и находится в разработке специальной рабочей группы. На заседании Комиссии 5 декабря 2025 года обсуждался проект Положения об условиях приемлемости и порядке рассмотрения обращений, предусматривающий возможность рассмотрения жалоб физических лиц и государств — участников Конвенции СНГ о правах человека. Согласно пункту 14 проекта Положения, Комиссия не рассматривает обращения физических лиц, если 1) обращение является анонимным; 2) касается права, не предусмотренного Конвенцией; 3) подано в отношении государства СНГ, не подписавшего Конвенцию либо не выполнившего внутригосударственные процедуры, предусмотренные пунктом 15 Положения о Комиссии (регулирующим порядок обращения государств-участников); 4) подано без исчерпания национальных средств защиты; 5) подано по истечении пяти лет с момента предполагаемого нарушения; 6) либо если соответствующий вопрос рассматривается или ранее рассматривался в рамках иной процедуры международного разбирательства или урегулирования. См. подробнее: https://e-cis.info/cooperation/4108/.

В то же время эти механизмы нельзя считать полноценной альтернативой Европейскому Суду. Дело даже не в формально рекомендательном статусе их актов (что в некоторых случаях может быть, наоборот, их преимуществом), а в том, что защита прав через эти органы оказывается значительно сложнее и порой занимает гораздо больше времени. Так, договорные органы ООН по правам человека изначально создавались для мониторинга соблюдения государствами договоров в области прав человека путем рассмотрения докладов (*state reports*), а не для разрешения споров между индивидом и государством. Они работают на сессионной основе и в составе от 10 до 23 членов в зависимости от комитета. В частности, в КПЧ ООН входит 18 экспертов, на которых среди прочего возлагается задача рассмотрения и обсуждения докладов 173 государств — участников Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года (далее — Пакт, МПГПП), подготовка заключительных замечаний (обратной связи) по ним, а также изучение индивидуальных сообщений и вынесение соображений по жалобам против 116 государств, признавших соответствующую компетенцию Комитета. Даже с учетом того, что не все государства представляют доклады своевременно, а поток жалоб из некоторых государств невелик, текущая нагрузка неизбежно приводит к тому, что рассмотрение дел растягивается на годы. К тому же ситуация усложняется беспрецедентным экономическим кризисом, с которым столкнулась ООН[30], из-за чего эксперты договорных органов вынуждены отменять свои плановые встречи и оптимизировать работу[31].

В связи с этим неудивительна колоссальная разница в количестве обращений против России в ЕСПЧ и КПЧ ООН. В 2022 году, который стал последним годом участия России в Совете Европы, в Европейский Суд против России было подано свыше шести тысяч жалоб[32], и к концу 2025

---

[30] ООН испытает серьезный финансовый кризис, который вынуждает организацию оптимизировать свою деятельность и сокращать штат. Как сообщает пресс-служба организации, одной из основных причин сложившейся ситуации стала крупная задолженность по взносам со стороны многих государств-членов. В ответ на эти вызовы Генеральный секретарь инициировал программу реформ «ООН-80», цели которой — повышение эффективности, рационализация операций и сокращение расходов, в том числе возможное сокращение штата на 20% за счет устранения дублирования функций: https://press.un.org/en/2025/gaab4498.doc.htm.

[31] Так, из-за «кризиса ликвидности ООН» Комитет по правам человека отменил свою 145-ю сессию, которая должна была пройти с 17 октября по 7 ноября 2025 года, и перенес ее на 2–19 марта 2026 года. Кроме того, на сайте договорных органов появились предупреждения, что в связи с нехваткой средств актуальная информация публикуется только на английском языке, так как обновление версий на других языках затруднено.

[32] Annual Report 2022 of the European Court of Human Rights. Council of Europe: https://www.echr.coe.int/annual-reports.

года около семи тысяч все еще ожидали рассмотрения[33]. Для сравнения, в Комитете в 2022 году было зарегистрировано лишь 41 сообщение, в 2023 — 54, в 2024 — 40, а по состоянию на конец 2025 года — 68[34]. Всего на рассмотрении Комитета находится 250 сообщений, связанных с Россией[35]. И хотя поток жалоб за последние годы в КПЧ ООН постепенно растет[36] — отчасти из-за переориентации с европейской системы на универсальную, а также в связи с усложнением внешней и внутренней политической обстановки, — Комитет не в состоянии принять на себя тот объем работы, который ранее выполнял и продолжает выполнять Европейский Суд.

Кроме того, дополнительную озабоченность вызывает скептическое отношение Министерства иностранных дел России к позициям договорных органов, которое, в отличие от Конституционного Суда, рассматривает акты комитетов исключительно как рекомендации. Эволюция позиции министерства хорошо прослеживается в реакции на заключительные замечания КПЧ ООН: если в 2003 году по итогам рассмотрения пятого периодического доклада МИД отметил как положительные, так и критические замечания Комитета и указал на необходимость их изучения профильными министерствами для принятия возможных мер[37], то в 2022 году, после рассмотрения восьмого доклада, тон резко изменился. Министерство заявило о политизированности и ангажированности экспертов, а также об «однобоком, резком и обвинительном характере» их заключительных замечаний, которые навязывают «неолиберальную расширительную интерпретацию норм Пакта и игнорируют культурные традиции и особенности исторического развития страны»[38]. При таком раскладе возникает обоснованная тревога, не повторит ли Россия сценарий Беларуси, которая в итоге вышла из процедуры индивидуальных

---

33 Statistical reports of the European Court of Human Rights. Council of Europe (2025). https://www.echr.coe.int/statistical-reports.

34 UN Human Rights Committee: https://www.ohchr.org/ru/treaty-bodies/ccpr/individual-complaints.

35 UN Human Rights Committee. Pending cases by year of registration (up to February 2026): https://www.ohchr.org/ru/treaty-bodies/ccpr/individual-complaints.

36 Для сравнения: в 2021 году против России было подано 28 сообщений, в 2020 — 6, в 109 — 15, в 2018 — 15, в 2017 — 27. См. подробнее: Table of registered and adopted cases Table of registered and adopted cases 2017-2020 (updated on 31 July 2025): https://www.ohchr.org/ru/treaty-bodies/ccpr/individual-complaints.

37 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальное сообщение (раздел «ООН»). https://mid.ru/ru/foreign_policy/un/1661544/.

38 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальное сообщение (раздел «Внешняя политика»): https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1836821/; см. также Министерство иностранных дел Российской Федерации. Реакция на заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, принятым в конце сентября 2025 года: https://www.mid.ru/ru/maps/ch/2050745/.

сообщений в 2023 году, лишив своих граждан возможности обращаться в соответствующий Комитет ООН[39].

Что касается Комиссии по правам человека СНГ, механизм рассмотрения индивидуальных жалоб которой до настоящего времени не запущен, ее потенциал в сфере международной защиты прав человека заслуживает, к сожалению, сдержанного и во многом пессимистичного прогноза. Формально Комиссия, подобно договорным органам, работает на сессионной основе и контролирует соблюдение прав человека государствами. Однако анализ состава, структуры и компетенции показывает, что ее возможности как правозащитного механизма крайне ограничены. Такая оценка обусловлена, по меньшей мере, двумя ключевыми факторами: узостью мандата, не наделяющего Комиссию полномочиями, сопоставимыми с ЕСПЧ или другими международными судами и органами, и сильной зависимостью от политической воли государств-участников. Это существенно снижает уровень ее институциональной автономии и превращает скорее в инструмент межгосударственного диалога, а не эффективного внешнего контроля. Тем не менее окончательно списывать механизм СНГ со счетов преждевременно. Потенциал Комиссии может быть усилен при условии расширения ее компетенции, повышения независимости членов и обеспечения прозрачности процедур. Кроме того, запуск ее полномочий по рассмотрению индивидуальных сообщений мог бы создать, пусть ограниченный, но все же еще один альтернативный региональный механизм защиты прав человека, частично компенсирующий утрату европейского механизма (Лунёв, 2025, с. 116–138).

В отечественной научной литературе также высказываются различные точки зрения относительно потенциала межгосударственного сотрудничества в сфере защиты прав человека в рамках иных международных организаций, участником которых является Россия. В частности, речь идет о Шанхайской организации сотрудничества (Марочкин, 2023, с. 32–55, 49–50), (Лихачев, Халафян, 2024, с. 22–35) и Евразийском экономическом союзе (Стародубцев, Макарова, 2024, с. 15–22). Однако, несмотря на то что данные объединения в настоящее время представляются институционально более устойчивыми по сравнению с СНГ, исследования их правозащитного потенциала носят преимущественно теоретический характер. На практике в рамках

[39] См. подробнее: Выход Беларуси из процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб является серьезным препятствием для защиты прав человека, заявил Комитет ООН по правам человека. Сайт Комитета по правам человека ООН: https://www.ohchr.org/ru/press-releases/2022/11/belarus-withdrawal-individual-complaints-procedure-serious-setback-human.

указанных организаций не предпринимается сколько-нибудь последовательных шагов по развитию правозащитного диалога или созданию механизмов контроля за соблюдением государствами прав человека (Лунёв, 2025, с. 118–123).

3. Что можно сделать?

Сегодня в отечественном правовом дискурсе не следует строить иллюзий относительно возможного возвращения России в Совет Европы и, соответственно, к юрисдикции Европейского Суда по правам человека. При нынешнем состоянии политических отношений, а также с учетом закрепившихся правовых последствий выхода страны из этой организации, подобный сценарий в среднесрочной перспективе представляется крайне маловероятным. Именно поэтому особую значимость приобретает сохранение и развитие сотрудничества России с универсальной системой защиты прав человека, прежде всего с договорными органами ООН. Эта система остается наиболее перспективной, институционально устойчивой и международно признанной площадкой, способной обеспечить хотя бы минимально необходимый уровень международного контроля за соблюдением прав человека. Наряду с этим представляется целесообразным продолжить укрепление Комиссии по правам человека СНГ — единственного действующего регионального механизма.

Ниже представлен перечень возможных рекомендаций по укреплению сотрудничества. Их реализация в текущих условиях представляется затруднительной, но в перспективе могла бы способствовать повышению эффективности участия России в международных механизмах защиты прав человека. Разумеется, этот перечень не является исчерпывающим и может стать самостоятельным предметом исследования, однако уже сейчас представляется возможным обозначить ряд направлений.

Во-первых, следует обратить внимание на настойчивые рекомендации договорных органов ООН о создании в России специального национального механизма для мониторинга исполнения их рекомендаций и решений[40]. Подобная структура — будь то межведомственный координационный орган или независимая институция — необходима для систематизации взаимодействия с комитетами, подготовки своевременных докладов, анализа практики и обеспечения реального исполнения принятых международных обязательств. Отсутствие такого механизма

[40] См., например UN Human Rights Committee (2022, 1 December). *Concluding observations on the eighth periodic report of the Russian Federation* CCPR/C/RUS/CO/8. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/RUS/CO/8.

снижает эффективность сотрудничества, создавая разрыв между рекомендациями комитетов и их практической имплементацией.

Во-вторых, представляется целесообразным получение разъяснений Верховного Суда относительно применения универсальных договоров ООН по правам человека отечественными судами. Недавняя инициатива по внесению изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2003 года[41] едва ли может считаться достаточной: изменения *de facto* свелись к замене некоторых ссылок на ЕКПЧ на положения Международного пакта о гражданских и политических правах. Между тем подобный подход вряд ли можно признать методологически оправданным. Эти международные договоры не являются «взаимозаменяемыми»: они различаются по перечню закрепленных прав, по особенностям их толкования международными органами, а также по механизму их применения в национальном правопорядке. В этой связи представляется необходимым уделить особое внимание специфике Пакта, включая замечания общего порядка и соображения Комитета ООН по правам человека как авторитетных источников его интерпретации.

Соответственно, целесообразным могло бы стать принятие самостоятельного разъясняющего акта по аналогии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2013 года о применении российскими судами Конвенции о защите прав человека и основных свобод[42], которое, несмотря на последующую утрату силы, на протяжении длительного времени служило важным ориентиром для российских судов. Учитывая, что Верховный Суд регулярно публикует обзоры практики договорных органов и специальных процедур Совета по правам человека ООН, он располагает необходимой экспертной базой для систематизации соответствующих подходов и обеспечения единообразия правоприменения.

В-третьих, учитывая, что высшие суды России — Верховный и Конституционный — признали соображения и мнения комитетов

---

[41] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 (ред. от 9 декабря 2025 г.) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».

[42] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». Утратил силу на основании Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2025 г. № 33 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней"».

основанием для пересмотра дел по новым обстоятельствам[43], логичным шагом является внесение соответствующих поправок в отечественные процессуальные кодексы. Такой механизм действовал в отношении постановлений ЕСПЧ до 2022 года[44], и его распространение на договорные органы ООН позволило бы устранить правовую неопределенность и облегчить нижестоящим судам ориентирование в международной практике. На текущий же момент не существует законной процедуры пересмотра национального решения или выплаты справедливой компенсации на основании решения комитетов о нарушении правозащитных обязательств.

Следующим перспективным шагом могло бы стать расширение участия России в универсальной системе защиты прав человека. Если акцент внешней правозащитной политики смещен с Совета Европы на ООН, логичным представляется вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Его принятие открыло бы возможность Подкомитету ООН по предупреждению пыток осуществлять мониторинг мест лишения свободы, фактически заменив Европейский комитет по предупреждению пыток, выполнявший аналогичные функции до денонсации соответствующей конвенции[45]. Для России этот шаг имел бы особое значение, учитывая длительную системную проблему в сфере запрета пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения: на протяжении более двадцати лет страна являлась абсолютным лидером по числу нарушений статьи 3 ЕКПЧ, а Европейский Суд фиксировал не единичные нарушения, а структурный характер проблемы (Кантур, 2018, с. 63). В такой ситуации отказ от европейского мониторинга без присоединения к другому эффективному международному механизму означает не просто снижение уровня внешнего контроля, но и реальный риск дальнейшего ухудшения стандартов обращения с задержанными и заключенными. Следовательно, ратификация Факультативного протокола была бы важна по двум причинам: во-первых, она восстановит

---

[43] Помимо упомянутых определений КС РФ по делам Хорошенко и Матвеева см. также позицию Верховного Суда Российской Федерации относительно учета решений договорных органов ООН: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 46-КГ17-24 (по делу Медведевой, в связи с мнением Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин) и Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2022 г. № 5-КГ22-67-К2 (по делу Кирсанова, в связи с соображениями Комитета ООН против пыток).

[44] Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 11 июня 2022 г. № 180-ФЗ установил, что факт вынесения Европейским Судом по правам человека постановления больше не является основанием к пересмотру дела.

[45] Федеральный закон от 29 сентября 2025 г. № 358-ФЗ «О денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней».

полноценный международный превентивный мониторинг мест лишения свободы и, во-вторых, придаст дополнительное практическое содержание конституционному запрету пыток, продемонстрировав, что выход из механизмов Совета Европы не равнозначен отказу России от международных обязательств по защите основных прав человека.

Кроме того, для усиления защиты наиболее уязвимых групп населения важным шагом могло бы стать признание компетенции по рассмотрению индивидуальных сообщений Комитета по правам ребенка, Комитета по правам инвалидов, а также (в особенности) Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. В последнем случае была бы подчеркнута приверженность России идее социального государства (статья 7 Конституции), а также преемственность с СССР, активно участвовавшим в разработке Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Неслучайно в Конституцию в 2020 году была включена поправка, подтверждающая статус России как государства-правопреемника и государства-продолжателя СССР (часть 1 статьи 67[1]).

В то же время правозащитная система ООН при всех ее достоинствах не исключает и не вытесняет существования региональных механизмов защиты прав человека. Напротив, эти уровни могут эффективно сосуществовать и дополнять друг друга (Лазутин, Безбородов, Лихачев, 2023, с. 189). В данном контексте особую значимость приобретает Конвенция СНГ о правах человека 1995 года, которая, в отличие от универсальных договоров ООН, содержит широкие и детализированные положения прав как первого, так и второго поколения, включая нормы, направленные на защиту уязвимых социальных групп (женщин, детей, лиц с инвалидностью, национальных меньшинств). Несмотря на отсутствие практики ее применения, сам потенциал Конвенции остается весьма высоким. Развитие процедур ее исполнения, включая запуск механизма Комиссии по рассмотрению индивидуальных обращений, могло бы стать важным шагом в укреплении региональной системы защиты прав человека в рамках СНГ (Лепёхин, Первухина, 2024, с. 19).

Заключение

Международные механизмы защиты прав человека на протяжении многих лет играли ключевую роль в развитии российской правовой системы, оказывая прямое и косвенное влияние на национальное законодательство и судебную практику. Участие России в Совете Европы и деятельность ЕСПЧ способствовали постепенной трансформации национального правоприменения: суды и государственные органы все чаще обращались к

правовым позициям ЕСПЧ, а законодательство отчасти адаптировалось к требованиям ЕКПЧ. Значительная часть структурных реформ, в частности в сфере уголовного судопроизводства, свободы выражения мнений, прав заключенных и защиты собственности, была инициирована или ускорена под влиянием ЕСПЧ. В этом контексте утрата его юрисдикции стала не только институциональной, но и методологической потерей, лишив российское правосудие внешнего ориентира, к которому оно привыкло за более чем двадцатилетний период интеграции.

Выход России из европейской системы защиты прав человека привел к пробелам в национальном правовом пространстве, прежде всего в части доступности международных механизмов защиты прав. В новых условиях особую актуальность приобретает развитие альтернативных инструментов, прежде всего в рамках ООН. На сегодня ее договорные органы остаются практически единственным эффективным международным средством правовой защиты, доступным российским гражданам. Однако действенность этих механизмов для России ограничена, поскольку отсутствуют какие-либо национальные законодательные и институциональные гарантии учета выводов договорных органов, а практика отечественных судов до сих пор не выработала устойчивой модели использования их актов. В результате потенциальный компенсаторный потенциал системы ООН остается в значительной мере нереализованным.

Тем не менее отечественная правовая система нуждается в адаптации к требованиям международных органов ООН, формализации процедур рассмотрения их актов на внутригосударственном уровне, а также в развитии судебной практики, способной учитывать универсальные правозащитные стандарты. Как справедливо отмечает Б. Л. Зимненко, учитывать практику договорных органов в сфере внутригосударственных отношений обязывают в том числе положения Венской конвенции о праве международных договоров (Зимненко, 2017, с. 96)[46], (Зимненко, 2023, с. 61). Только при условии реального укрепления оставшихся международных инструментов возможно сохранить хотя бы минимально сопоставимый уровень международной защиты, который ранее обеспечивался участием России в европейской системе. Таким образом, развитие диалога прежде всего с универсальными механизмами прав человека (и, потенциально, «собственным» региональным механизмом) становится ключевым условием сохранения правового пространства, в

[46] При этом в отечественной литературе этот подход разделяют не все: так, Б.Р. Тузмухамедов прямо критикует позицию Б.Л. Зимненко, считая ошибочным вывод о соответствующей юридической силе актов договорных органов ООН (Тузмухамедов, 2021, с. 154).

котором международные и конституционные гарантии продолжают функционировать как действенный инструмент защиты прав граждан.

Список литературы / References

1. Автономов, А. С. (2013). Рассмотрение индивидуальных сообщений договорными органами в системе Организации Объединённых Наций. *Международное правосудие*, *3*(7), 76–96.
   Autonomov, A. S. (2013). Consideration of individual communications by treaty bodies in the system of the United Nations. *International Justice*, *3*(7), 76–96.
2. Заключение Венецианской комиссии по Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (2018). *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*, 6, 13–46.
   Opinion of the Venice Commission on the Constitution of the Russian Federation, adopted by popular vote on 12 December 1993 (2018). *Journal of foreign legislation and comparative law*, 6, 13–46.
3. Зимненко, Б. Л. (2017). О месте и значении практики межгосударственных органов по защите прав и свобод человека в правовой системе Российской Федерации (на примере рассмотрения судами Российской Федерации конкретных дел). *Московский журнал международного права*, 3, 92–129.
   Zimnenko, B. L. (2017). On the place and significance of the practice of interstate bodies for the protection of human rights and freedoms in the legal system of the Russian Federation (on the example of consideration of specific cases by courts of the Russian Federation). *Moscow Journal of International Law*, 3, 92–129.
4. Зимненко, Б. Л. (2023). О значении для судов Российской Федерации практики международных договорных органов ООН. *Правосудие/Justice, 1*(5), 54–90.
   Zimnenko, B. L. (2023). On the significance for the courts of the Russian Federation of the practice of international UN treaty bodies. *Pravosudie/Justice, 1*(5), 54–90.
5. Исполинов, А. С. (2017). Вопросы взаимодействия международного и внутреннего права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. *Российский юридический журнал*, 1, 73–93.
   Ispolinov, A. S. (2017). Issues of interaction between international and

domestic law in the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation. *Russian juridical journal*, 1, 73–93.

6. Кантур, Р. (2018). Проблемы соблюдения Россией обязательств по статье 3 Европейской Конвенции по правам человека в отношении задержанных: практика ЕСПЧ. *Международное правосудие*, *2*(26), 62–76.
   Kantur, R. (2018). Problems of Russia's compliance with its obligations under Article 3 of the European Convention on Human Rights in respect of detained persons: the case-law of the ECtHR. *International justice*, *2*(26), 62–76.

7. Ковлер, А. И. (1996). Конституционные основы новой российской государственности. *Становление новой российской государственности* (с. 23–34).
   Kovler, A. I. (1996). Constitutional foundations of the new Russian statehood. *Formation of the new Russian statehood* (pp. 23–34).

8. Ковлер, А. И. (2019). Конституция России как сравнительный проект (к истории создания Конституции Российской Федерации). *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*, 1, 8–14.
   Kovler, A. I. (2019). The Russian Constitution as a comparative project (on the history of drafting the Constitution of the Russian Federation). *Journal of foreign legislation and comparative law*, 1, 8–14.

9. Лазутин, Л. А., Безбородов, Ю. С., Лихачев, М. А. (2023). Международное право: учебник для магистратуры и специалитета. *Москва: Норма; ИНФРА-М*.
   Lazutin, L. A., Bezborodov, Yu. S., Likhachev, M. A. (2023). International law: textbook for master's and specialist degree students. *Moscow: Norma; INFRA-M*.

10. Лепёхин, Н. А., Первухина, К. К. (2024). Суд по правам человека ЕАЭС: to be, or not to be? Уральский журнал правовых исследований, 3, 16–24.
    Lepyokhin, N. A., Pervukhina, K. K. (2024). The EAEU human rights court: to be, or not to be? *Ural journal of legal studies*, 3, 16–24.

11. Лунёв А.А. (2025). Правозащитный механизм СНГ: критический взгляд на деятельность Комиссии по правам человека. *Международное правосудие*, *3*(55), 116–138.
    Lunev A.A. (2025). The CIS human rights protection mechanism: a critical view of the activities of the Human Rights Commission. *International justice*, *3*(55), 116–138.

12. Лихачев М. А. (2020). Международное и внутригосударственное право: есть ли первый среди равных? *Российский юридический журнал*, 3, 38–40.
Likhachev, M. A. (2020). International and domestic law: is there a first among equals? *Russian juridical journal*, 3, 38–40.

13. Лихачев М. А. (2026). Договорные органы по правам человека ООН: учебник для вузов / отв. редакторы Т. А. Титова, А. А. Лунёв. Юрайт.
Likhachev, M. A. (2025). UN human rights treaty bodies: textbook for universities / T. A. Titova, A. A. Lunev (Eds.). Yurayt.

14. Лихачев, М. А., Халафян, Р. М. (2024). Правозащитный механизм Шанхайской организации сотрудничества: возможные сценарии. *Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу»*, 4, 22–35.
Likhachev, M. A., Khalafyan, R. M. (2024). Human rights mechanism of the Shanghai Cooperation Organisation: possible scenarios. *Electronic Supplement to the Russian Juridical Journal*, 4, 22–35.

15. Марочкин, С. Ю. (2023). Международное право в российских судах: современные реалии. *Российский юридический журнал*, 1, 29–42.
Marochkin, S. Yu. (2023). International law in Russian courts: current realities. *Russian Juridical Journal*, 1, 29–42.

16. Марочкин, С. (2023). Решения международных судов и договорных органов по правам человека в российской судебной практике: новая реальность, первые результаты, возможные перспективы. *Сравнительное конституционное обозрение, 4* (155), 32–55.
Marochkin, S. (2023). Decisions of international courts and human rights treaty bodies in Russian judicial practice: new reality, first results, possible prospects. *Comparative Constitutional Review, 4* (155), 32–55.

17. Морщакова, Т. (2016). Конституционная и судебная имплементация Европейской Конвенции по правам человека. *Сравнительное конституционное обозрение*, *2*(111), 182–189.
Morshchakova, T. (2016). Constitutional and judicial implementation of the European Convention on Human Rights. *Comparative constitutional review*, *2*(111), 182–189.

18. Стародубцев, Г. С., Макарова, С. С. (2024). Перспективы защиты прав человека в рамках ЕАЭС. *Мониторинг правоприменения*, 4, 15–22.
Starodubtsev, G. S., Makarova, S. S. (2024). Prospects for human rights protection within the EAEU. *Monitoring of Law Enforcement*, 4, 15–22.

19. Тузмухамедов, Б. Р. (2021). Универсальные договорные органы по правам человека и их место среди международных институтов. Государство и право, 7, 151–160.
Tuzmukhamedov, B. R. (2021). Universal treaty bodies on human rights and their place among international institutions. State and Law, 7, 151–160.

20. Энтин, М. Л. (1996). Политико-правовые последствия вступления России в Совет Европы. *Московский журнал международного права*, 3, 97–111.
Entin, M. L. (1996). Political and legal consequences of Russia's accession to the Council of Europe. *Moscow journal of international law*, 3, 97–111.

Научная статья / Research Article
https://doi.org/10.17323/jil.2026.39143

ДИСКУССИЯ | DISCUSSION

Балансируя между прогрессом и регрессом: исполнение решений договорных органов ООН по правам человека в Российской Федерации

Р. П. Абрашин

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
rpabrashin@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4891-359X

Аннотация

Настоящая статья призвана определить, в какой мере решения договорных органов ООН по правам человека, вынесенные в отношении России, могут быть исполнены на данный момент. Автор прослеживает эволюцию подходов судебной практики, выработанных главным образом Конституционным Судом Российской Федерации (далее — Конституционный Суд) и Верховным Судом Российской Федерации (далее — Верховный Суд), по вопросу процессуального реагирования на решения квазисудебных органов ООН по правам человека в отношении России, обращаясь к трем возможным сценариям: во-первых, возобновление производства по делу заявителя ввиду новых обстоятельств (*дело Хорошенко* и *дело Медведевой*); во-вторых, пересмотр дела заявителя в надзорном порядке (*дело Костина* и *дело Мамонова*); и в-третьих, возмещение вреда, причиненного заявителю (*дело Кирсанова* и *дело Сотника*). Кроме того, в статье оценивается возможность исполнения временных мер Комитета ООН по правам человека (далее — Комитет, КПЧ) в свете позиции Верховного Суда, высказанной в апреле 2025 года. Автор приходит к выводу, что возможности возобновления производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств или его пересмотр в надзорном порядке являются крайне ограниченными, а возобновление производства по гражданскому делу ввиду новых обстоятельств маловероятно с учетом недавних изменений законодательства. Поскольку в Российской Федерации процедура исполнения решений договорных органов ООН по правам человека на законодательном уровне не урегулирована, автор убежден, что исполнение решений таких органов в ближайшее время будет полностью зависеть от усмотрения судов и органов прокуратуры.

Ключевые слова: договорные органы ООН по правам человека, возобновление производства по делу ввиду новых обстоятельств, пересмотр дела, возмещение, временные меры

Для цитирования: Абрашин Р. П. Балансируя между прогрессом и регрессом: исполнение решений договорных органов ООН по правам человека в Российской

Федерации. *Журнал ВШЭ по международному праву / HSE University Journal of International Law.* 2026. Том 4. № 1. С. 86–120.

Роман Петрович Абрашин — стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории международного правосудия факультета права.

Balancing between progress and regress: compliance with the decisions of the UN human rights treaty-based bodies in the Russian Federation

R. P. Abrashin

HSE University, Moscow, Russia

rpabrashin@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4891-359X

Abstract

This article is aimed at determining the extent to which the decisions of the UN human rights treaty-based bodies against Russia can be enforced at the current time. The author traces the evolution of approaches of judicial practice, which have been developed primarily by the Constitutional Court of the Russian Federation (hereinafter — Constitutional Court) and the Supreme Court of the Russian Federation (hereinafter — Supreme Court) on the issue of the legal consequences of the decisions rendered by the UN human rights quasi-judicial bodies in relation to Russia using the examples of three possible scenarios: first, the resumption of the applicant's case due to new circumstances (the *Khoroshenko* and the *Medvedeva* cases); second, the review of the applicant's case in a supervisory procedure (the *Kostin* and the *Mamonov* cases); and third, the reparation of the harm caused to the applicant (the *Kirsanov* and the *Sotnik* cases). This study also assesses the possibility of obeying the interim measures of the UN Human Rights Committee (hereinafter — HRC, Committee) in light of the recent position of the Supreme Court of April 2025. The author concludes that the possibilities for resuming criminal proceedings due to new circumstances or their review in a supervisory procedure are extremely limited. It appears that the resumption of civil proceedings due to new circumstances is unlikely because of certain changes in Russian legislation. Since the procedure for enforcing the decisions of the UN human rights treaty-based bodies is not regulated at the legislative level in the Russian Federation, the author is convinced that in the near future, compliance with decisions of such bodies will depend entirely on the discretion of courts and prosecutor's offices.

Key words: UN human rights treaty-based bodies, resumption of the case due to new circumstances, retrial, reparation, interim measures

Citation: Abrashin R. Balancing between progress and regress: compliance with the decisions of the UN human rights treaty-based bodies in the Russian Federation. *HSE University Journal of International Law*. 2026. Vol. 4. No. 1. P. 86–120.

Roman P. Abrashin — research intern, Laboratory of International Justice, Faculty of Law.

Введение

15 марта 2022 года Россия уведомила Генерального секретаря Совета Европы о выходе из этой организации по ст. 7 Устава Совета Европы, а также о своем намерении денонсировать (Европейскую) Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (далее — ЕКПЧ, Европейская конвенция). 11 марта 2023 года Российская Федерация денонсировала ряд международных договоров Совета Европы, включая и Европейскую конвенцию[1]. Ранее некоторые авторы отмечали, что в отсутствие переходного механизма заявители фактически столкнутся с проблемой неисполнения Российской Федерацией многих постановлений Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) (Ултургашев, 2023, с. 50). Вместе с тем 18 декабря 2024 года Президиум Верховного Суда Российской Федерации (далее — Президиум ВС РФ) разъяснил, что в целях исполнения постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022 года включительно, российские суды могут при необходимости применять пункт 2 части 4 статьи 413 и пункт 3 части 4 статьи 414 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), то есть возобновлять производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств[2]. По сути, этим постановлением Президиум ВС РФ отменил многочисленные постановления о применении и продлении меры пресечения в отношении заявителя О. И. Николенко и возобновил производство по его уголовному делу ввиду новых обстоятельств в связи со вступлением в силу 16 февраля 2022 года постановления ЕСПЧ по делу *Ковров и другие против Российской Федерации*[3]. 10 октября 2025 года Российская Федерация денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколы к ней[4]. Наконец, 9 декабря 2025 года Верховный Суд признал утратившим силу свое постановление от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», а также исключил упоминания ЕКПЧ и

---

1 Федеральный закон от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы». http://www.kremlin.ru/acts/bank/48975.

2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2024 г. № 23-П24 «О возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств».

3 European Court of Human Rights. *Kovrov and Others v. Russia*. Application nos. 42296/09 and 4 others. Judgment of 16 November 2021.

4 Федеральный закон от 29 сентября 2025 г. № 358-ФЗ «О денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней». http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202509290023?ysclid=mh9i5ewata648912749.

Протоколов к ней, правовых позиций ЕСПЧ и рекомендаций Комитета министров Совета Европы из своих предыдущих постановлений. Более того, в этом постановлении ссылки на статьи Европейской конвенции были заменены на аналогичные положения Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года (далее — Международный пакт, Пакт)[5]. Совокупность этих событий свидетельствует о явном отходе России от стандартов Совета Европы в области защиты прав человека. На данный момент Российская Федерация остается участницей ряда универсальных договоров по правам человека[6]. Россия также участвует в Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года, контрольным органом которой является Комиссия по правам человека СНГ[7]. Однако в настоящее время этот орган не обладает полномочиями по рассмотрению обращений граждан государств-участников о предполагаемых нарушениях их прав, закрепленных в упомянутой конвенции (Лунёв, 2025, с. 125). В связи с этим единственными доступными межгосударственными органами по защите прав и свобод человека (в значении части 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации) являются договорные и уставные органы ООН по правам человека. В настоящей статье акцент сделан на деятельности договорных органов. Так, Российская Федерация признает компетенцию четырех комитетов принимать и рассматривать индивидуальные сообщения, а именно

---

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2025 г. № 33 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_521205/. Помимо прочего, серьезные коррективы были внесены и в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44722/?ysclid=mml1ywvjdw863334804.

[6] Например, Российская Федерация участвует в следующих многосторонних договорах ООН по правам человека: Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. ст. 291; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 21 декабря 1965 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1969 г. № 25. Ст. 219; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 18 декабря 1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1982 г. № 25. Ст. 464; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 10 декабря 1984 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987 г. № 45. Ст. 747; Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1990 г. № 45. Ст. 955; Конвенция о правах инвалидов, 13 декабря 2006 г. // Бюллетень международных договоров. 2013 г. № 7. С. 45–67.

[7] Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 1999 г. № 6. С. 3–13.

Комитета ООН по правам человека (далее — КПЧ)[8], Комитета ООН против пыток (далее — КПП)[9], Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (далее — КЛРД)[10], а также Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (далее — КЛДЖ)[11]. Исследование главным образом сфокусировано на работе трех Комитетов: КПЧ, КПП и КЛДЖ. Деятельность КЛРД не охвачена, поскольку его практика в отношении России представляется недостаточно развитой (этот орган вынес всего лишь два решения о неприемлемости сообщений, поданных против Российской Федерации[12]).

Анализ деятельности универсальных органов ООН по правам человека уже нашел отражение в доктрине международного права. Одни исследователи сосредоточили внимание на изучении вопроса о юридическом статусе решений договорных органов ООН (Alebeek, Nollkaemper, 2012; Солнцев, Конева, 2013; Богатыренко, 2023). Другие авторы рассматривали проблемы исполнения решений контрольных органов ООН по правам человека (Kanetake, 2018; Shikhelman, 2019; Зимненко, 2023; Осипов, 2023; Халафян, 2024). А. Х. Абашидзе, А. Е. Конева и А. М. Солнцев принимали участие в исследовании влияния универсальных договоров по правам человека на национальные правовые системы, в том числе и на Российскую Федерацию (Abashidze, Koneva & Solntsev, 2024, Chapter 15).

Настоящая работа отличается тем, что она направлена не только на систематизацию подходов российской судебной практики: автор предпринимает попытку определить перспективы исполнения решений[13] договорных органов ООН по правам человека в России. Потенциал исполнения решений упомянутых органов оценивается сквозь призму имплементации трех мер индивидуального характера: во-первых, возобновление производства по делу заявителя ввиду новых обстоятельств;

---

[8] Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г. // Бюллетень международных договоров январь 1993 г. № 1. С. 3–6.

[9] Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 10 декабря 1984 г. // Ведомости ВС СССР. 11 ноября 1987 г. № 45.

[10] Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 21 декабря 1965 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 18 июня 1969 г. № 25. Ст. 219.

[11] Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 6 октября 1999 г. // Бюллетень международных договоров. 2005 г. № 4. С. 3–8.

[12] См.: UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (далее — CERD). *A. S. v. Russian Federation*. Communication no. 045/2009. Inadmissibility decision of 26 August 2011. https://juris.ohchr.org/casedetails/1726/en-US; CERD. *M. v. Russian Federation*. Communication no. 055/2014. Inadmissibility decision of 7 August 2015. https://juris.ohchr.org/casedetails/1963/en-US.

[13] В настоящей работе под «решениями» договорных органов ООН по правам человека понимаются, прежде всего, их соображения (мнения).

во-вторых, пересмотр дела заявителя в надзорном порядке; и в-третьих, возмещение вреда, причиненного заявителю. Более того, в настоящем исследовании затрагивается вопрос о перспективах исполнения временных мер КПЧ в свете недавней практики Верховного Суда. В связи с этим исследовательский вопрос настоящей работы состоит в том, в какой мере на данный момент могут быть исполнены решения универсальных договорных органов по правам человека, вынесенные в отношении России.

Статья состоит из введения, четырех частей и заключения. Первая часть посвящена вопросу о правовом статусе решений договорных ООН по правам человека в российской правовой системе. Вторая часть включает три подраздела, в которых оцениваются перспективы возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств и пересмотра дела в результате обращения в договорные органы ООН по правам человека. В третьей части исследуется возможность получения возмещения вреда, в частности компенсации морального вреда и взыскания судебных издержек в результате обращения в квазисудебные органы ООН по правам человека. В четвертой части дается оценка возможности исполнения временных мер КПЧ в Российской Федерации.

1. Место решений договорных органов ООН по правам человека в рамках российской правовой системы: пародия на суд?

Анализируя значение решений договорных органов ООН по правам человека для российской правовой системы, нельзя обойти стороной вопрос о правовом статусе подобных решений. В 2018 году Комиссия ООН по международному праву (далее — Комиссия) подготовила проект выводов о последующих соглашениях и последующей практике в отношении толкования международных договоров, в котором признала, что «суждение экспертного договорного органа может порождать последующее соглашение или последующую практику участников по пункту 3 статьи 31 [Венской конвенции о праве международных договоров] или последующую практику по статье 32 или отсылать к ним»[14]. К суждениям экспертных договорных органов (от англ.: *pronouncements of expert treaty bodies*) Комиссия отнесла, в частности, решения КПЧ и предложения и рекомендации КЛРД[15].

[14] International Law Commission. (2018). Draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two. P. 106. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_11_2018.pdf.

[15] Ibid. P. 109.

Учитывая обычное значение терминов, широко используемых в международных договорах для обозначения конкретной формы суждения или его контекста, Комиссия приходит к выводу, что такие суждения не имеют обязательной юридической силы[16]. Вместе с тем решения универсальных органов ООН по правам человека могут учитываться международными судебными органами в качестве авторитетной правовой позиции. Например, в свое время Международный Суд в деле *Гвинейская Республика против Демократической Республики Конго*, обратившись к практике КПЧ, отметил, что «ему следует придавать большое значение толкованию, принятому этим независимым органом, который был создан специально для наблюдения за применением этого международного договора [Международного пакта о гражданских и политических правах]»[17]. Суд обращается к практике договорных органов ООН по правам человека (включая замечания общего порядка) и по сей день[18].

Относительно функций контрольных органов ООН по правам человека КПЧ отметил, что его соображениям присущи основные черты судебного решения: члены Комитета действуют беспристрастно и независимо, формулировки Пакта получают взвешенное толкование, решения Комитета носят окончательный характер[19]. Тем не менее Б. Р. Тузмухамедов отмечает, что данные органы не наделены судебными полномочиями, поскольку «их процедура не отвечает требованиям публичности и состязательности, они не исследуют доказательства и не опрашивают свидетелей и экспертов; учредительными актами не предусмотрен порядок обжалования их решений или контроля за их выполнением и его обеспечения» (Тузмухамедов, 2021, с. 155). В связи с тем, что договорные органы ООН не являются судебными в строгом смысле слова, некоторые исследователи полагают целесообразным использовать по отношению к ним термин «квазисудебные органы» (Абашидзе, Солнцев, 2012, с. 133). Кроме того, ранее в особом мнении, приложенном к Определению № 1248-О, судья Конституционного Суда Н. С. Бондарь подчеркнул: КПЧ

---

16 Ibid.

17 International Court of Justice (далее — ICJ). *Case concerning Ahmadou Sadio Diallo* (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo). Merits, Judgment of 10 November 2010. Para. 66.

18 См., напр.: ICJ. *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*. Advisory Opinion of 19 July 2024. Para. 233; ICJ. *Obligations of States in respect of Climate Change*. Advisory Opinion of 23 July 2025. Para. 377; ICJ. *Obligations of Israel in Relation to the Presence and Activities of the United Nations, Other International Organizations and Third States In and in Relation to the Occupied Palestinian Territory*. Advisory Opinion of 22 October 2025. Para. 154.

19 UN Human Rights Committee (далее — HRCmttee). General comment no. 33, Obligations of States parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Para. 11. https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no33-obligations-states-parties.

является именно «*экспертным конвенционным органом*, что, в свою очередь, определяет характер и правовые последствия принимаемых им актов, которые, имея важное морально-политическое значение, не могут приравниваться к судебным актам или отождествляться с ними» (курсив мой. — *Р. А.*)[20].

Вопрос о правовом статусе решений договорных органов ООН по правам человека не раз поднимался в российской доктрине. Одни авторы подчеркивают, что характер решений КПЧ определяется обязательством государств-участников действовать добросовестно как в рамках участия в процедуре, так и в отношении самого Пакта (Солнцев, Конева, 2013, с. 86). По мнению других, решения, принимаемые договорными органами ООН по правам человека по результатам рассмотрения индивидуальных сообщений в отношении Российской Федерации, являются составной частью ее правовой системы (Зимненко, 2023, с. 74). Однако большинство как российских, так и зарубежных исследователей настаивают на рекомендательном характере решений универсальных органов по правам человека (Shelton, 2011, p. 559; Rodley, 2013, p. 639; Tomuschat, 2014, p. 233; Тузмухамедов, 2021, с. 159; Исполинов, 2022, с. 33; Марочкин, 2023, с. 46). Несмотря на юридически необязательный характер решений этих органов А. С. Автономов отмечает, что «значительная часть государств не отказывается от диалога с договорными органами в отношении решений последних, даже если выражает несогласие, полное или частичное, с их решениями по индивидуальным сообщениям» (Автономов, 2013, с. 93). И. А. Богатыренко полагает, что наибольшее значение имеют суждения договорных органов ООН, вынесенные в ходе рассмотрения индивидуальных сообщений и подготовки замечаний общего порядка (Богатыренко, 2023, с. 49–50). В свою очередь, некоторые исследователи предлагают отличать обязательный характер (от англ.: *bindingness*) решений квазисудебных органов ООН по правам человека с точки зрения международного права от их правового статуса в национальной правовой системе (Alebeek, Nollkaemper, 2012, pp. 357–358). Автор настоящей работы придерживается похожей логики, рассматривая динамику процессуального реагирования российских судов на решения договорных органов ООН по правам человека.

Наиболее интересной представляется точка зрения Э. Гусмана, который в целом рассматривает решения международных судебных органов в

[20] Особое мнение судьи Н. С. Бондаря к Определению Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1248-О «По жалобе гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

качестве «информационного механизма» (от англ.: *information mechanism*) (Guzman, 2008, p. 51). По его мнению, во-первых, международные суды помогают государствам прийти к общему пониманию относящихся к делу фактов или положений права, а, во-вторых, устанавливают факт нарушения международного права со стороны государства (Guzman, 2008, p. 52). Представляется, что данный термин может быть применен и при описании деятельности универсальных органов по правам человека, которые, несмотря на свой квазисудебный характер, также занимаются исследованием фактических обстоятельств дела и установлением фактов нарушения международного права со стороны государств, а именно международных договоров по правам человека. Даже такая «мягкая» деятельность контрольных механизмов по правам человека может оказать значительное влияние на национальные правовые системы. Так, некоторые государства принимают активные меры по исполнению решений договорных органов ООН по правам человека[21], есть даже примеры тех, кто признал эти решения юридически обязательными. Примером тому служит Испания, где отправной точкой для признания стало дело *Анхела Гонсалес Карреньо против Испании*, рассмотренное КЛДЖ[22]. В 2018 году Верховный Суд Испании постановил, что государство обязано соблюдать мнения КЛДЖ, поскольку оно добровольно признало компетенцию этого Комитета рассматривать индивидуальные сообщения[23]. Уже в 2023 году Верховный Суд Испании в целях исполнения соображений Комитета ООН по правам инвалидов по делу *Рубен Кальеха Лома и Алехандро Кальеха Лукас против Испании*[24] вынес революционное решение, указав, что международные обязательства, касающиеся исполнения решений международных контрольных органов, компетенцию которых признала

---

[21] Например, в 1996 году в Колумбии был создан специальный комитет, состоящий из четырех министров (министр иностранных дел, министр обороны, министр юстиции, министр внутренних дел), роль которого заключается в изучении решений международных договорных органов по правам человека и принятии решения о необходимости предоставления компенсации (Uprimny, Ruano, García, 2024, pp. 241–242).

[22] UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (далее — CEDAW). *Angela González Carreño v. Spain*. Communication no. 47/2012. Views of 16 July 2014. https://juris.ohchr.org/casedetails/1878/en-US.

[23] *María de los Ángeles González Carreño v. Ministry of Justice*. Judgment No. 1263/2018 of 17 July 2018 of the Supreme Court, Administrative Chamber, Section Four. https://www.poderjudicial.es/search/TS/#. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь: Supreme Court of Spain: UN Treaty Body individual decisions are legally binding // EJIL Talk. https://www.ejiltalk.org/supreme-court-of-spain-un-treaty-body-individual-decisions-are-legally-binding/.

[24] Committee on the Rights of Persons with Disabilities. *Calleja Loma and Calleja Lucas v. Spain*. Communication no. 41/2017. Views of 20 August 2020. https://juris.ohchr.org/casedetails/3072/en-US.

Испания, являются частью ее внутреннего правопорядка[25]. Тем самым в Испании укоренилась позиция по исполнению решений договорных органов ООН по правам человека в качестве юридически обязательных.

В настоящее время признается, что решения договорных органов ООН по правам человека потенциально могут порождать последующую практику применения международного договора или последующее соглашение государств-участников международного договора. В отечественной и зарубежной доктрине отмечается, что решения контрольных органов ООН не имеют юридически обязательного характера с точки зрения международного права. Однако некоторые государства могут наделять их определенным правовым статусом уже в рамках национальных правовых систем.

2. Возможность возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств и пересмотра в результате обращения в договорные органы ООН по правам человека: практика российских судов

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Пакта у государств имеются позитивные обязательства по предоставлению эффективных средств правовой защиты в случае нарушения какого-либо права, закрепленного в данном международном договоре[26].

Таким средством может выступать пересмотр дела во внутригосударственных судах. Еще в 1996 году Конституционный Суд, истолковав часть 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации в связке с пунктом 2 статьи 2 Пакта, пришел к выводу, что «данное конституционное положение означает, что решения межгосударственных органов могут приводить к пересмотру конкретных дел высшими судами Российской Федерации, и, следовательно, открывает дорогу для полномочий последних по повторному рассмотрению дела в целях изменения ранее состоявшихся по нему решений, в том числе принятых высшей внутригосударственной судебной инстанцией»[27]. Впоследствии

---

[25] *Jose Carlos, Doña Jacinta and Don Jose Ramón v. Ministry of Justice*. Judgment No. 1597/2023 of 29 November 2023 of the Supreme Court, Administrative Chamber, Section Four. https://www.poderjudicial.es/search/TS/. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь: Spain's Supreme Court is at it again: UN Treaty Body decisions are binding // EJIL Talk. https://www.ejiltalk.org/spains-supreme-court-is-at-it-again-un-treaty-body-decisions-are-binding/.

[26] HRCmttee. General comment no. 31 [80], The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant. Para. 8. https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451.

[27] Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова».

Конституционный Суд признал, что решения ЕСПЧ, равно как и ЕКПЧ, являются составной частью российской правовой системы[28]. Кроме того, он не раз высказывался о важности пересмотра дела заявителя в связи с вынесением постановления ЕСПЧ, в котором констатировалось нарушение Конвенции[29]. В отличие от постановлений ЕСПЧ, универсальные международные договоры по правам человека не предусматривают конкретной процедуры по исполнению решений договорных органов ООН, и на законодательном уровне в России этим решениям не придается никакого значения. Лишь российские суды (главным образом Конституционный Суд и Верховный Суд) выступают как в роли «ремонтников», которые восполняют правовые пробелы, так и в роли «законодателей», предлагая достаточно революционные подходы по вопросу процессуального реагирования на решения квазисудебных органов ООН по правам человека.

2.1. Прогрессивный, но осторожный подход Конституционного Суда на примере дела *Хорошенко против Российской Федерации*

В 2012 году Конституционный Суд принял по-настоящему «прецедентное» Определение № 1248-О (или, как его еще называют, определение «с позитивным содержанием»), сформировав свою правовую позицию относительно возможности исполнения решений договорных механизмов ООН по правам человека[30]. Толчком к этому стала жалоба гражданина Андрея Хорошенко, который ранее обращался в КПЧ[31]. В своем решении Комитет констатировал множество нарушений прав заявителя и рекомендовал государству-ответчику провести полное и тщательное расследование утверждений о пытках и жестоком обращении и возбудить

---

[28] Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан».

[29] См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой»; Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2005 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянкова».

[30] Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1248-О «По жалобе гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

[31] HRCmttee. *Khoroshenko v. Russian Federation*. Communication no. 1304/2004. Views of 29 March 2011 (далее — *Khoroshenko v. Russian Federation*). https://juris.ohchr.org/casedetails/1628/en-US.

уголовное дело в отношении лиц, ответственных за обращение, которому подвергся заявитель; провести повторно судебное разбирательство в соответствии со всеми гарантиями, предусмотренными Пактом (англ.: *a retrial in compliance with all guarantees under the Covenant*), и предоставить ему надлежащее возмещение, включая компенсацию[32]. После «победы» в КПЧ Хорошенко обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Верховный Суд с целью возобновить производство по его уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Однако судья Верховного Суда вернула ему заявление, сославшись на то, что решения КПЧ не являются основанием для пересмотра судебных решений в порядке, установленном главой 49 УПК РФ[33]. Интересно, что сама часть 4 статьи 413 УПК РФ содержит открытый перечень примеров новых обстоятельств.

Как отмечают некоторые исследователи, решения КПЧ на основании индивидуальных сообщений — это сигнал государству о нарушении права и призыв к восстановлению нарушенного права, то есть, по сути дела, к устранению нарушения международного обязательства (Мюллерсон, 1991, с. 111). Следуя этой логике, Конституционный Суд отметил: в силу общепризнанного принципа международного права *pacta sunt servanda* и по смыслу пункта 3 (a) статьи 2 Пакта Российская Федерация не вправе уклоняться от адекватного реагирования на соображения КПЧ, в том числе в случаях, когда КПЧ полагает, что вследствие нарушения положений Пакта должно быть обеспечено повторное судебное разбирательство по уголовному делу лица, чье сообщение послужило основанием для принятия Комитетом соответствующего соображения[34]. Более того, Конституционный Суд руководствовался и пунктом 6 статьи 14 Пакта, который также предусматривает право осужденных на пересмотр дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Эта международно-правовая норма имеет приоритет перед внутренним законодательством[35] (идентичная позиция была позже отражена и в Определении Конституционного Суда от 27 июня 2017 года № 1436-О[36]). В связи с этим Конституционный Суд признал, что вынесение соображений КПЧ с констатацией нарушений положений Пакта является достаточным

---

32 Ibid. Para. 11.

33 См.: описание фактов приведено в Определении Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1248-О.

34 Там же. Абзац седьмой пункта 4.

35 Там же. Абзац седьмой пункта 3.

36 Определение Конституционного Суда РФ 27 июня 2017 г. № 1436-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дорофеева Сергея Сергеевича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 3 части четвертой статьи 413 и части первой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

поводом для вынесения прокурором постановления о возбуждении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств[37].

Однако такая, на первый взгляд, прогрессивная позиция Конституционного Суда таит в себе несколько оговорок: во-первых, необходимо, чтобы в самих соображениях КПЧ содержалось адресованное России предложение о проведении повторного судебного разбирательства (например, как это было в *деле Хорошенко*); во-вторых, пересмотр дела заявителя возможен, если выявленные Комитетом нарушения положений Пакта не могут быть исправлены в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности вступившего в законную силу приговора. Следует отметить, что спустя три года Конституционный Суд также признал, что мнение Рабочей группы по произвольным задержаниям (далее — Рабочая группа) может стать поводом, достаточным для вынесения прокурором постановления о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств[38]. В отличие от решений КПЧ, в *деле Матвеева* Конституционный Суд отметил, что мнения Рабочей группы имеют рекомендательное значение[39]. Впоследствии конституционно-правовые позиции по *делу Хорошенко* и по *делу Матвеева* поддержал и Верховный Суд[40].

Представляется, что в обоих делах Конституционный Суд был достаточно осторожен в своих формулировках. Так, он не признал, что решения договорных органов ООН по правам человека или мнения Рабочей группы входят в российскую правовую систему по аналогии с постановлениями ЕСПЧ. Вместе с тем, не говоря об этом напрямую, Конституционный Суд фактически придал юридически обязательную силу соображениям КПЧ и мнениям Рабочей группы. Несмотря на то что Суд выработал прогрессивную позицию, она остается применимой лишь к уголовным делам на основании части 4 статьи 413 УПК РФ.

---

37 Там же. Абзац третий пункта 5.

38 Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2015 г. № 1276-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Матвеева Дениса Викторовича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

39 Там же. Абзац третий пункта 4.3.

40 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 декабря 2021 г. № 43 «О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора».

2.2. Революционная позиция Верховного Суда на примере дела *Медведева против Российской Федерации*

Светлана Медведева стала первой заявительницей, обратившейся в КЛДЖ с сообщением о нарушении Россией положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года (далее — Конвенция). Суть дела заключалась в том, что заявительнице было отказано в трудоустройстве на должность мотористa-рулевого на основании пункта 404 части XXXIII Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 162 (далее — Перечень тяжелых работ для женщин)[41]. Впоследствии Медведева предъявила иск к ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» с требованием об обязании в кратчайший срок создать условия труда и заключить трудовой договор[42]. В этом деле Комитет отметил, что положения, касающиеся защиты лиц, работающих в опасных или трудных условиях, должны быть направлены на охрану здоровья и безопасности на рабочих местах как мужчин, так и женщин с учетом гендерных различий, обусловливающих наличие специфических рисков для здоровья[43]. Комитет принял во внимание факт того, что в Российской Федерации нет специального ограничения для работы в небезопасных условиях труда для мужчин, даже если известны риски для их репродуктивного здоровья (Бартенев, 2016, с. 43). На основании этого КЛДЖ постановил, в частности, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по пунктам (c) и (e) статьи 2, рассматриваемым совместно со статьей 1 Конвенции, вследствие необеспечения применения на практике *принципа равного обращения, предусмотренного Конвенцией и Конституцией*, и эффективной защиты женщин от любых актов гендерной дискриминации (курсив мой. — *Р. А.*)[44]. Тем самым Комитет констатировал, что имело место как нарушение международного договора, так и нарушение положения Конституции Российской Федерации. В итоге Комитет принял индивидуальную меру в отношении заявительницы, а именно рекомендовал государству-ответчику предоставить заявительнице соответствующее возмещение и адекватную компенсацию, соизмеримую с

---

41 CEDAW. *Medvedeva v. Russian Federation*. Communication no. 60/2013. Views of 25 February 2016. Para. 2.1. https://juris.ohchr.org/casedetails/3028/en-US (далее — *Medvedeva v. Russian Federation*).

42 Ibid. Para. 2.4.

43 Ibid. Para. 11.3.

44 Ibid. Para. 11.4.

серьезностью нарушения ее прав, и облегчить ей доступ к работе, для которой она имеет соответствующую квалификацию. Не ограничившись лишь мерами индивидуального характера, Комитет отразил и достаточно большой список рекомендаций по принятию мер общего характера[45].

После «победы» Медведевой в КЛДЖ некоторые исследователи предполагали, что именно Конституционный Суд должен способствовать исполнению решения КЛДЖ (Бартенев, 2016, с. 46), однако, ситуация осложнялась тем, что ранее Конституционный Суд в Определении от 22 марта 2012 года № 617-О-О фактически отказался признать неконституционными акты, оспариваемые в деле Медведевой[46]. В связи с этим «эстафетную палочку» подхватил Верховный Суд, в который Медведева обратилась после неудачных попыток возобновить гражданское дело ввиду новых обстоятельств. Проблема заключалась в том, что в 2017 году лишь соображения КПЧ и мнения Рабочей группы признавались в качестве основания, достаточного для возобновления дела ввиду нового обстоятельства. Кроме того, эта конституционно-правовая позиция была применима только к уголовным делам ввиду открытого перечня новых обстоятельств в части 4 статьи 413 УПК РФ. В заявлении о пересмотре дела заявительница ссылалась на пункт 4 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), который ранее к новым обстоятельствам относил установление ЕСПЧ нарушения положений ЕКПЧ при рассмотрении конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в этот Суд. Ссылаясь на конституционно-правовую позицию по *делу Хорошенко*, Верховный Суд сделал нечто революционное, отметив, что «с учетом универсальности таких принципов уголовного и гражданского судопроизводств, как состязательность и равноправие сторон (часть 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации), приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации может быть распространена на производство в судах общей юрисдикции по гражданским делам»[47]. Более того, Суд пришел к выводу, что конституционно-правовая позиция по *делу Хорошенко* применима по

---

45 Ibid. Para. 13.

46 Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 г. № 617-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Клевец Анны Юрьевны на нарушение ее конституционных прав частями первой и третьей статьи 253 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 374 раздела XXX Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».

47 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г. по делу № 46-КГ17-24.

аналогии и к мнениям КЛДЖ[48]. В этом деле Верховный Суд также напомнил о ранее высказанной позиции, согласно которой неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации может являться основанием отмены или изменения судебного акта[49].

Итоговая правовая позиция Верховного Суда заключалась в том, что мнение КЛДЖ, принятое по письменному сообщению гражданина РФ и содержащее рекомендации об устранении нарушений Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин, *обязательно для исполнения* Российской Федерацией и может являться новым обстоятельством в контексте пункта 4 части 4 статьи 392 ГПК РФ для пересмотра вступившего в законную силу судебного постановления в целях соблюдения прав и законных интересов гражданина (курсив мой. — *Р. А.*)[50]. Несмотря на по-настоящему «революционное заявление» об обязательной силе мнений КЛДЖ (при использовании термина «рекомендации»), Верховный Суд обозначил несколько потенциальных ограничений, а именно гражданство заявительницы[51] и пункт 4 части 4 статьи 392 ГПК РФ, который утратил силу после принятия Федерального закона от 11 июня 2022 года № 183-ФЗ. В связи с тем, что Верховный Суд истолковал пункт 4 части 4 статьи 392 ГПК РФ как подразумевающий в качестве нового обстоятельства не только постановления ЕСПЧ с констатацией нарушения ЕКПЧ, но и мнения КЛДЖ, неясно, будет ли эта правовая позиция иметь какой-либо эффект, учитывая тот факт, что данный пункт не может быть применен в настоящее время. Следовательно, исполнение будущих решений КЛДЖ остается под вопросом из-за «туманных» перспектив возобновления производства по гражданскому делу ввиду новых обстоятельств.

Верховный Суд постановил направить дело Медведевой на новое рассмотрение в суд первой инстанции, то есть Самарский районный суд г. Самары. В своем решении суд первой инстанции, во-первых, признал,

---

48 Там же.

49 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».

50 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г. по делу № 46-КГ17-24.

51 В соответствии со статьей 2 Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин сообщения могут направляться подпадающими под юрисдикцию государства-участника лицами или группами лиц или от их имени, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения этим государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Конвенции. Таким образом, потенциально обратиться с сообщением в КЛДЖ против Российской Федерации могут и иностранные граждане, и лица без гражданства.

что запрет дискриминации женщин в сфере труда по признаку пола является общепризнанным принципом международного права[52]. Во-вторых, Самарский районный суд подчеркнул, что возможность принять женщину на работу требует от работодателя финансовых вложений для создания безопасных условий труда[53]. В-третьих, суд принял во внимание тот факт, что в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» отсутствовала вакансия должности мотористa-рулевого на момент повторного обращения заявительницы с исковым заявлением. Суд также отметил, что во время повторного судебного разбирательства Перечень тяжелых работ не был отменен или изменен несмотря на рекомендации КЛДЖ[54]. В итоге Самарский районный суд г. Самары удовлетворил исковые требования заявительницы частично, лишь признав решение ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» об отказе в заключении с Медведевой трудового договора нарушающим запрет дискриминации женщин в сфере труда по признаку пола[55]. Вопрос о предоставлении компенсации морального вреда суд не рассматривал, поскольку сама заявительница о ней не заявляла. Самарский областной суд согласился с позицией суда первой инстанции и оставил решение без изменения[56]. Таким образом, рекомендованная Комитетом мера индивидуального характера не была реализована в полной мере, поскольку заявительница не получила компенсацию морального вреда и не была принята на желаемую должность. В результате *дела Медведевой* в августе 2019 года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации пересмотрело и утвердило новую редакцию Перечня тяжелых работ для женщин[57]. Как справедливо указывают некоторые исследователи, термин «запрещенные» был заменен термином «ограниченные» профессии. Кроме того, новая редакция Перечня содержит 100 позиций, то есть в 4,5 раза меньше, чем прежде (Abashidze, Koneva, Solntsev, 2024, p. 967).

---

52 Решение Самарского районного суда г. Самары от 15 сентября 2017 г. по делу № 2-1885/2017.

53 Там же.

54 Там же.

55 Там же.

56 Апелляционное определение Самарского областного суда от 28 ноября 2017 г. по делу № 33-15262.

57 Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин».

2.3. От сообщения в Комитет по правам человека до изменения обвинительного приговора: *Мамонов и Костин против Российской Федерации*

Широко известны два примера настоящего пересмотра дела (и даже изменения обвинительного приговора) в связи с принятыми КПЧ соображениями: это дела *Ю. М. (Мамонов) против Российской Федерации* и *Костин против Российской Федерации*, рассмотренные в КПЧ (Зимненко, 2023, с. 80; Осипов, 2023, с. 83). Следует отметить, что в обоих случаях Комитет недвусмысленно рекомендовал Российской Федерации обеспечить пересмотр дела заявителей со ссылкой на свою позицию по делу *Дорофеев против Российской Федерации*. Так, Комитет признал, что гарантии, закрепленные в пункте 3 (d) статьи 14 Пакта, применяются и к судебным разбирательствам в суде кассационной инстанции[58]. В деле *Ю. М. против Российской Федерации* Комитет подчеркнул: именно государство-участник должно продемонстрировать, что заявитель, который привлекался к ответственности за тяжкие преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок до 25 лет, был надлежащим образом проинформирован о своем праве на защитника, и что он намеренно отказался воспользоваться этим правом[59]. Впоследствии Комитет пришел к выводу: в деле отсутствуют факты, свидетельствующие о явном отказе заявителя от защитника по назначению[60]. По заключению Комитета в деле *Костин против Российской Федерации* государству-участнику не удалось продемонстрировать, что были предприняты необходимые шаги для информирования заявителя о его правах лично присутствовать на судебном разбирательстве и быть представленным защитником во время кассационного пересмотра его приговора, учитывая тяжкий характер вмененных преступных деяний[61]. Таким образом, в обоих делах Комитет пришел к выводу, что право заявителей на защитника при рассмотрении дела в кассационном порядке было нарушено[62]. В *деле Костина* КПЧ рекомендовал государству-ответчику выплатить заявителю достаточную компенсацию и пересмотреть судебное решение в соответствии с Пактом (от англ.: *review*

---

58 HRCmttee. *Sergey Sergeevich Dorofeev v. Russian Federation*. Communication no. 2041/2011. Views of 11 July 2014. Para. 10.6. https://juris.ohchr.org/casedetails/1864/en-US.

59 HRCmttee. *Y. M. v. Russian Federation*. Communication no. 2059/2011. Views of 31 March 2016. Para. 9.7. https://juris.ohchr.org/casedetails/2113/en-US (далее — *Y. M. v. Russian Federation*).

60 Ibid.

61 HRCmttee. *Kostin v. Russian Federation*. Communication no. 2496/2014. Views of 21 March 2017. Para. 7.3. https://juris.ohchr.org/casedetails/2286/en-US (далее — *Kostin v. Russian Federation*).

62 *Y. M. v. Russian Federation*. Para. 9.6; *Kostin v. Russian Federation*. Para. 7.3.

the court's verdict in compliance with the Covenant)[63], в то время как в *деле Ю. М. (Мамонова)* КПЧ постановил отменить обвинительный приговор заявителю (от англ.: *quash the author's conviction*) и при необходимости провести новое судебное разбирательство и пересмотреть дело с соблюдением принципов справедливого судебного разбирательства, доступа к защитнику и других процессуальных гарантий, а также предоставить заявителю надлежащую компенсацию[64]. Следовательно, в обоих делах КПЧ эксплицитно рекомендовал России пересмотреть уголовные дела заявителей.

Необходимо отметить, что в обоих делах заявителям удалось не только возобновить производство по делу ввиду новых обстоятельств, но и пересмотреть его в надзорном порядке в соответствии с главой 48.1 УПК РФ. Для защиты прав обоих заявителей два заместителя Генерального прокурора Российской Федерации обратились в Президиум ВС РФ с надзорными представлениями, в которых они напрямую ссылались на решения КПЧ по делам заявителей. Президиум ВС РФ передал уголовное *дело Ю. М. (Мамонова)* на кассационное рассмотрение в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда (далее — Судебная коллегия) в связи с тем, что право заявителя на защиту было нарушено[65]. Аналогичный вывод был сделан и в *деле Костина*, которое также было передано на кассационное рассмотрение в Судебную коллегию[66]. В итоге по *делу Ю. М. (Мамонова)* Судебная коллегия изменила обвинительный приговор, вынесенный Свердловским областным судом 15 мая 2002 года, окончательно назначив заявителю наказание в виде 21 года лишения свободы (вместо изначальных 25 лет) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима[67]. При этом в рамках кассационного рассмотрения дела Судебная коллегия руководствовалась фактами истечения сроков давности уголовного преследования по некоторым вмененным преступлениям и смягчающими обстоятельствами в виде наличия на иждивении Мамонова на момент совершения преступлений двоих малолетних детей[68]. В свою очередь, определение Судебной коллегии по *делу Костина* представляется более интересным, поскольку в рамках кассационного производства заявитель просил

---

63 *Kostin v. Russian Federation*. Para. 9.
64 *Y. M. v. Russian Federation*. Para. 11.
65 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 29 марта 2017 г. по делу № 187П16пр.
66 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10 октября 2018 г. по делу № 128-П18пр.
67 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 23 мая 2017 г. по делу № 45-О17-2.
68 Там же.

признать за ним также право на реабилитацию[69]. Однако Судебная коллегия отметила, что статья 133 УПК РФ не распространяется на случаи, когда постановленный обвинительный приговор отменен или изменен ввиду истечения сроков давности[70]. Кроме того, сославшись на конституционно-правовую позицию по *делу Хорошенко*, Судебная коллегия придала ей новое толкование, подчеркнув, что принятие соображений КПЧ является основанием для наступления *уголовно-процессуальных последствий*, таких как возобновление производства по делу ввиду новых обстоятельств, пересмотр процессуального решения, принятие нового решения (курсив мой. — *Р.А.*)[71]. В итоге по *делу Костина* Судебная коллегия изменила его обвинительный приговор, вынесенный Верховным Судом Республики Хакасия от 20 марта 2003 года, освободив его от части наказания и окончательно назначив ему лишение свободы на срок четыре года девять месяцев (вместо изначальных 18 лет)[72].

Таким образом, *Ю. М. (Мамонов) против Российской Федерации* и *Костин против Российской Федерации* являются самыми яркими примерами того, как заявители, обратившиеся в Комитет по правам человека, смогли добиться справедливости вплоть до изменения их обвинительных приговоров. Тем не менее некоторые исследователи заявляют об отклонении подхода Верховного Суда от конституционно-правовой позиции в связи с возможностью пересмотра уголовного дела в рамках надзорного производства (Осипов, 2023, с. 84). В действительности Верховный Суд пошел дальше, дополнив конституционно-правовую позицию новыми уголовно-процессуальными последствиями, такими как пересмотр процессуального решения и принятие нового решения. Нельзя не отметить, что и Мамонов, и Костин были лишены права на защитника, что противоречит как нормам международного права (пункт 3 (d) статьи 14 Пакта), так и нормам конституционного права (статья 48 Конституции Российской Федерации). Как отметила Судебная коллегия в *деле Костина*, приговор может быть признан законным только в том случае, если он постановлен по результатам справедливого судебного разбирательства[73]. Несмотря на рассмотренные позитивные примеры, пересмотр дела в качестве индивидуальной меры не так часто фигурирует в решениях договорных

---

69 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26 декабря 2018 г. по делу № 55-О18-4.

70 Там же.

71 Там же.

72 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26 декабря 2018 г. № 55-О18-4.

73 Там же.

органов ООН по правам человека. Так, всего лишь в семи решениях, вынесенных в отношении Российской Федерации, КПЧ рекомендовал пересмотреть дела заявителей[74]. КПП, в свою очередь, избирал аналогичную меру лишь в отношении двух сообщений[75]. В рамках КЛДЖ также лишь в отношении двух сообщений в качестве индивидуальной меры был рекомендован пересмотрен дела[76].

3. Возмещение вреда в результате обращения в договорные органы ООН по правам человека: декларация без компенсации?

Помимо возможности возобновить производство по делу ввиду новых обстоятельств или пересмотреть его, заявителям также может быть назначена надлежащая и справедливая компенсация. Так, по результатам рассмотрения сообщений в отношении России КПЧ присудил заявителям компенсацию более чем в 60 делах[77], КПП — только в трех делах[78], а

---

[74] См.: HRCmttee. *Babkin v. Russian Federation*. Communication no. 1310/2004. Views of 3 April 2008. Para. 15. https://juris.ohchr.org/casedetails/1410/en-US; HRCmttee. *Pustovalov v. Russian Federation*. Communication no. 1232/2003. Views of 23 March 2010. Para. 10. https://juris.ohchr.org/casedetails/1554/en-US; *Khoroshenko v. Russian Federation*. Para. 11; *Y. M. v. Russian Federation*. § 11; *Kostin v. Russian Federation*. Para. 9; HRCmttee. *Semen Sbornov v. Russian Federation*. Communication no. 2699/2015. Views of 25 July 2019. Para. 10. https://juris.ohchr.org/casedetails/2794/en-US; HRCmttee. *Valeriy Milyukov v. Russian Federation*. Communication no. 3132/2018. Views of 9 July 2025. Para. 10. https://juris.ohchr.org/casedetails/5162/en-US.

[75] См.: Committee against Torture (далее — CAT). *Danil Gabdulkhakov v. Russian Federation*. Views. Communication no. 637/2014. Decision of 17 May 2018. Para. 11. https://juris.ohchr.org/casedetails/2743/en-US; CAT. *Shamil Guseinov v. Russian Federation*. Communication no. 975/2020. Views of 11 November 2022. Para. 9. https://juris.ohchr.org/casedetails/4140/en-US.

[76] См.: *Medvedeva v. Russian Federation*. Para. 13; CEDAW. *X. and Y. v. Russian Federation*. Communication no. 100/2016. Views of 16 July 2019. Para. 11. https://juris.ohchr.org/casedetails/2658/en-US.

[77] См., напр.: HRCmttee. *Aleksandr Golubev v. Russian Federation*. Views. Communication no. 3127/2018. Decision of 14 March 2025. Para. 9. https://juris.ohchr.org/casedetails/5227/en-US; HRCmttee. *Zelimkhan Magomadov v. Russian Federation*. Communication no. 2533/2015. Views of 8 July. Para. 11. https://juris.ohchr.org/casedetails/4138/en-US.

[78] См.: CAT. *Kirsanov v. Russian Federation*. Views. Communication no. 478/2011. Decision of 14 May 2014. Para. 13. https://juris.ohchr.org/casedetails/1834/en-US (далее — *Kirsanov v. Russian Federation*); CAT. *X. v. Russian Federation*. Communication no. 542/2013. Views of 8 May 2015. Para. 13. https://juris.ohchr.org/casedetails/1955/en-US; CAT. *Shamil Guseinov v. Russian Federation*. Communication no. 975/2020. Views of 11 November 2022. Para. 9. https://juris.ohchr.org/casedetails/4140/en-US.

КЛДЖ — шесть раз[79]. Далее возможность взыскания компенсации в российских судах исследуется на примере пяти дел.

Первый пример касается двух дел, затрагивающих проблему домашнего насилия, рассмотренных КЛДЖ. В деле *О. Г. против Российской Федерации* заявительница столкнулась с тем, что ни правоохранительные, ни судебные органы не были способны оперативно, адекватно и эффективно расследовать ее заявление об угрозах убийством и насилием со стороны бывшего партнера[80]. В итоге Комитет признал, что заявительница оставалась без государственной защиты, в то время как ее периодически преследовал агрессор[81]. Тем самым КЛДЖ заключил, что Российская Федерация нарушила статьи 1, 2(b)–(g), 3 и 5(a) Конвенции[82]. В связи с этим Комитет рекомендовал государству-ответчику предоставить заявительнице надлежащую финансовую компенсацию, соизмеримую с серьезностью нарушений ее прав[83]. Комитет также рекомендовал принять меры общего характера, начиная от внесения изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) и заканчивая предложением ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция)[84].

Другим примером является дело *X. и Y. против Российской Федерации*, которое касалось домашнего насилия в семье, так как обе заявительницы подвергались систематическому физическому и психологическому насилию со стороны их супругов[85]. Комитет посчитал, что, привлекая к ответственности за акты домашнего насилия в рамках системы частного обвинения, государство-участник не может выполнять обязательство проявлять должную осмотрительность в целях предотвращения актов насилия и наказания за них в рамках своих обязательств по статье 2

---

79 См.: *Medvedeva v. Russian Federation*. Para. 13; CEDAW. *O. G. v. Russian Federation*. Communication no. 091/2015. Decision of 6 November 2017. Para. 9. https://juris.ohchr.org/casedetails/2429/en-US (далее — *O. G. v. Russian Federation*); CEDAW. *S. T. v. Russian Federation*. Communication no. 065/2014. Views of 25 February 2019. Para. 11. https://juris.ohchr.org/casedetails/2651/en-US; CEDAW. *X. and Y. v. Russian Federation*. Communication no. 100/2016. Views of 16 July 2019. Para. 11. https://juris.ohchr.org/casedetails/2658/en-US; (далее — *X. and Y. v. Russian Federation*); CEDAW. *O. N. and D. P. v. Russian Federation*. Communication no. 119/2017. Views of 20 February 2020. Para. 9. https://juris.ohchr.org/casedetails/2709/en-US; CEDAW. *Shpagina v. Russian Federation.* Communication no. 129/2018. Views of 23 February 2023. Para. 11. https://juris.ohchr.org/casedetails/3749/en-US.

80 *O. G. v. Russian Federation*. Paras 2.1–2.8.

81 Ibid. Para. 7.9.

82 Ibid. Para. 8.

83 Ibid. Para. 9.

84 Ibid.

85 *X. and Y. v. Russian Federation*. Paras 2.1–2.29.

Конвенции[86]. В связи с этим Комитет рекомендовал государству-ответчику предоставить обеим заявительницам компенсацию, соизмеримую с серьезностью нарушения их прав, и предоставить им услуги по реабилитации[87]. Более того, Комитет снова рекомендовал государству-ответчику принять всесторонние меры по борьбе с проблемой домашнего насилия[88]. Заявительницы по двум делам совместно обратились в Замоскворецкий районный суд г. Москвы с иском к Министерству внутренних дел Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации (далее — Минфин) о взыскании компенсации вреда в размере 1 500 000 руб. в пользу каждой из них[89]. Несмотря на то что заявительницы ссылались на вынесенные в их пользу решения КЛДЖ, суд подчеркнул: в силу статьи 61 ГПК РФ мнения и рекомендации Комитета не имеют преюдициального значения, в связи с чем изложенные в них обстоятельства не могут быть приняты судом по настоящему делу без подтверждения относимыми и допустимыми доказательствами[90]. Поскольку заявительницы не представили дополнительные доказательства, их исковые требования не были удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения[91]. Кассационная инстанция также не удовлетворила требования заявительниц, отметив, что исполнение мнений КЛДЖ в части предоставления компенсации заявительницам невозможно, поскольку его решения носят рекомендательный характер[92]. На этом попытки заявительниц взыскать компенсацию с государственных органов во исполнение решений КЛДЖ завершились, так как в Верховный Суд они решили не обращаться.

Третий пример — дело *Кирсанов против Российской Федерации*, касающееся суровых условий пребывания заявителя в изоляторе временного содержания[93]. Комитет против пыток признал недостаточными меры государства-участника по проведению расследования утверждений заявителя и по предоставлению ему символической денежной компенсации (10 000 руб.)[94]. КПП пришел к выводу, что

---

86 Ibid. Para. 9.4.
87 Ibid. Para. 11.
88 Ibid.
89 Решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 18 декабря 2020 г. по делу № 2-9267/2020.
90 Там же.
91 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июля 2021 г. по делу № 33-23525.
92 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 25 ноября 2021 г. по делу № 8Г-27823/2021.
93 *Kirsanov v. Russian Federation*. Para. 11.2.
94 Ibid. Para. 11.4.

государство-участник нарушило статью 16 Конвенции, и на основании этого рекомендовал предоставить заявителю справедливую и надлежащую компенсацию[95]. В 2019 году Кирсанов обратился с иском к Минфину о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 руб. на основании того, что в период с 14 декабря 2000 года по 5 февраля 2001 года он находился под стражей в ИВС-2 г. Тольятти и содержался в условиях, унижающих его человеческое достоинство. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований заявителя[96]. Апелляционная инстанция также не поддержала заявителя[97]. После двух попыток обжалования дело вернулось в Тверской районный суд г. Москвы, в который снова обратился заявитель уже в 2023 году с тем же требованием, но по другому основанию, а именно ввиду длительного неисполнения решения КПП от 14 мая 2014 года государственными органами. Суд первой инстанции снова отказал заявителю в удовлетворении его требований, отметив, что неисполнение решения Комитета, которое имеет рекомендательный характер, не может служить достаточным основанием для взыскания компенсации морального вреда[98]. Тем не менее Московский городской суд впоследствии отменил решение суда первой инстанции и постановил взыскать с Минфина компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб. в пользу Кирсанова[99]. Системно истолковав положения статей 14, 16 и 22 Конвенции против пыток, суд апелляционной инстанции отметил, что исполнение решений КПП, касающихся Российской Федерации, признающей его компетенцию, предполагает в случае необходимости обязательство со стороны государства принять меры частного характера, направленные на устранение нарушений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя, а также меры общего характера, с тем чтобы предупредить повторение подобных нарушений[100]. Однако с такими прогрессивными выводами не согласился суд кассационной инстанции, который отменил решение апелляционной инстанции и направил дело в Московский городской суд на новое рассмотрение в ином составе судей[101]. В итоге Московский городской суд отказал в удовлетворении требований

---

95 Ibid. Para. 13.

96 Решение Тверского районного суда г. Москвы от 20 июня 2019 г. по делу № 2-3155/2019.

97 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 июля 2020 г. по делу № 33-20170/2021.

98 Решение Тверского районного суда г. Москвы от 9 июня 2023 г. по делу № № 2-0647/2023.

99 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 мая 2024 по делу № 33-7629/2024.

100 Там же.

101 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20 сентября 2024 г. по делу № 8Г-20238/2024, 88-19017/2024.

заявителя[102], позицию которого поддержал и Второй кассационный суд общей юрисдикции[103]. В результате длительных судебных тяжб Кирсанову так и не удалось получить справедливую и надлежащую компенсацию, предусмотренную решением КПП от 14 мая 2014 года.

Вместе с тем в практике российских судов встречаются и положительные примеры. Одним из них является дело *Гатилов против Российской Федерации*, которое касалось принудительного выселения заявителя из его жилища[104]. Комитет признал, что вмешательство государства в право заявителя на неприкосновенность жилища было произвольным и незаконным, поскольку его выселили без предоставления другого жилья и в нарушение внутреннего законодательства[105]. В связи с этим КПЧ рекомендовал государству-участнику принять меры для предоставления заявителю надлежащей компенсации, в том числе за утрату его личных вещей, судебные штрафы, судебные издержки и другие связанные с ними сборы, а также за любой другой понесенный некомпенсированный ущерб[106]. В 2022 году заявитель обратился в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с иском к Федеральной службе судебных приставов (далее — ФССП) о взыскании убытков, причиненных судебным приставом-исполнителем, в размере 801 525 руб. 80 коп. и компенсации морального вреда в размере 120 000 руб. Однако суд апелляционной инстанции удовлетворил требования Гатилова частично, взыскав с ФССП убытки лишь в размере 186 269 руб.[107] Ответчик пытался обжаловать решение суда апелляционной инстанции, однако Девятый кассационный суд общей юрисдикции отказал ФССП в удовлетворении кассационной жалобы[108]. Следовательно, в этом деле заявитель смог получить минимальную компенсацию, которая была предусмотрена решением КПЧ.

Еще один пример — дело *Сергей Сотник против Российской Федерации*, затрагивающее проблему невозможности получения компенсации за незаконное заключение под стражу[109]. В этом деле Комитет

---

[102] Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 января 2025 г. по делу № 33-0893/2025.

[103] Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 1 июля 2025 г. по делу № 88-16290/2025.

[104] HRCmttee. *Gatilov v. Russian Federation*. Communication no. 2171/2012. Views of 13 July 2017. Para. 2.2.

[105] Ibid. Para. 9.4.

[106] Ibid. Para. 11.i

[107] Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 8 августа 2022 по делу № 33-1118/2022.

[108] Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 20 декабря 2022 г. № 88-11684/2022.

[109] HRCmttee. *Sergei Sotnik v. Russian Federation*. Communication no. 2478/2014. Views of 23 July 2020. Paras. 2.1–2.5.

напомнил государству-ответчику, что возможность получения возмещения — не только теоретическая, но должна подкрепляться эффективным механизмом, а компенсацию надлежит выплачивать в течение разумного периода времени[110]. Комитет пришел к выводу, что Российская Федерация нарушила пункты 1 и 5 статьи 9 Пакта, а также присудил Сотнику надлежащую компенсацию за допущенные нарушения[111]. В 2021 году заявитель обратился в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга с иском к Минфину и ФСИН о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов. Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу заявителя с Минфина компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., судебные расходы на представителя в размере 20 750 руб., почтовые расходы и расходы на полиграфические услуги в размере 417 руб. 07 коп., а также взыскав в его пользу с ФСИН компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., судебные расходы на представителя в размере 20 750 руб., почтовые расходы и расходы на полиграфические услуги в размере 417 руб. 07 коп.[112] Апелляционная инстанция уточнила размер компенсации морального вреда с Минфина, увеличив ее до 100 000 руб.[113] Более того, в пользу заявителя с Минфина взыскали расходы на оплату услуг представителя в размере 35 000 руб., почтовые расходы в размере 1 542 руб. 57 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 руб.[114] Это решение апелляционной инстанции позже было оставлено без изменения Третьим кассационным судом общей юрисдикции[115]. Таким образом, заявителю удалось получить компенсацию, предусмотренную решением КПЧ.

Представленные примеры иллюстрируют возможность получения хотя бы частичной компенсации вследствие обращения в договорные органы ООН по правам человека. Однако заявителям необходимо иметь в виду, что решения квазисудебных органов ООН не имеют преюдициального значения в гражданском судопроизводстве. Как следствие, получение возмещения заявителями сильно осложняется, поскольку этот правовой пробел пока не может быть восполнен усилиями ординарных судов.

---

110 Ibid. Para. 7.5.

111 Ibid. Paras 8–9.

112 Решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 14 декабря 2021 г. по делу 2-10830/2021.

113 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 23 августа 2022 г. по делу № 33-16932/2022.

114 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 18 января 2024 г. по делу № 33-3495/2024.

115 Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 27 мая 2024 г. по делу 88-12680/2024.

Фактически многие решения в пользу заявителя остаются декларативными ввиду невозможности их исполнения.

4. Временные меры договорных органов ООН по правам человека: признание без исполнения?

Комитет по правам человека уполномочен просить государство-участника в срочном порядке принять временные меры (от англ.: *interim measures*) во избежание действий, которые могут иметь непоправимые последствия для прав, на которые ссылается заявитель[116]. Комитет против пыток также наделен подобными полномочиями[117]. Временные меры запрашиваются заявителем либо принимаются КПЧ *ex officio*[118]. Чаще всего временные меры запрашиваются в случаях неминуемой смертной казни[119] или экстрадиции лица в другое государство при угрозе, что он или она там могут подвергнуться пыткам[120]. Например, в практике КПЧ отмечается, что присоединение государства к Факультативному протоколу подразумевает обязательство добросовестно сотрудничать с Комитетом, с тем чтобы он мог рассматривать индивидуальные сообщения и, после изучения, доводить свои соображения до сведения государства-участника и отдельных лиц[121]. По мнению Комитета, временные меры имеют важное значение для выполнения Комитетом его роли в соответствии с Факультативным протоколом, в то время как неисполнение этих мер подрывает защиту прав, закрепленных в Пакте[122]. В связи с этим

---

116 Rule 94 of the Rules of Procedure of the Human Rights Committee adopted on 4 January 2021. https://digitallibrary.un.org/record/3902695.

117 Rule 114 of the Rules of Procedure of the Committee against Torture adopted on 1 September 2014. https://digitallibrary.un.org/record/782624?v=pdf.

118 HRCmttee. General comment no. 33, Obligations of States parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Para. 19. https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no33-obligations-states-parties.

119 См., напр.: HRCmttee. *Ashby v. Trinidad and Tobago*. Views. Communication no. 580/1994. Decision 21 March 2002. Para. 10.10. https://juris.ohchr.org/casedetails/951/en-US; HRCmttee. *Grunov and Grunova v. Belarus*. Communication nos. 2375/2014, 2690/2015. Views of 12 July 2018. Para. 6.3. https://juris.ohchr.org/casedetails/3433/en-US.

120 См., напр.: CAT. *Brada v. France*. Views. Communication no. 195/2002. Decision of 17 May 2005. Paras 6.1–6.2. https://juris.ohchr.org/casedetails/137/en-US; HRCmttee. *Ali Aarrass v. Spain*. Communication no. 2008/2010. Views of 21 July 2014. Para. 8.1. https://juris.ohchr.org/casedetails/1860/en-US.

121 См., напр.: HRCmttee. *Zhuk v. Belarus*. Communication no. 1910/2009. Views of 30 October 2013. Para. 6.2. https://juris.ohchr.org/casedetails/1689/en-US; HRCmttee. *Maksudov et al v. Kyrgyzstan*. Communication nos. 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 and 1477/2006. Views of 16 July 2008. Para. 10.1. https://juris.ohchr.org/casedetails/1445/en-US.

122 См.: HRCmttee. *Saidova v. Tajikistan*. Communication no. 964/2001. Views of 8 July 2004. Para. 4.4. https://juris.ohchr.org/casedetails/1122/en-US; HRCmttee. *Piandiong at al. v. the Philippines*. Communication no. 869/1999. Views of 19 October 2000. Para. 5.4. https://juris.ohchr.org/casedetails/912/en-US.

неисполнение государствами-ответчиками временных мер Комитета рассматривается им как нарушение их обязательств по статье 1 Факультативного протокола. Например, в делах *N. S. против Российской Федерации*[123] и *K. B. против Российской Федерации*[124] КПЧ подчеркнул, что государство-участник нарушило статью 1 Факультативного протокола, проигнорировав просьбу Комитета не экстрадировать заявителей в Кыргызстан. Как отмечает Комитет против пыток, игнорирование просьбы о временных мерах препятствует эффективному осуществлению права на обращение, предусмотренное статьей 22 Конвенции против пыток, и делает его окончательное решение по существу дела бесполезным и беспредметным[125]. Не исполняя временные меры КПП, государства-участники нарушают статью 22 Конвенции против пыток[126]. В этой связи некоторые исследователи резюмируют, что временные меры, запрашиваемые договорными органами ООН по правам человека, имеют обязательную силу (Pillay, 2021, p. 68; Sánchez Madrigal, Zyberi, 2022, p. 6). Таким образом, присоединяясь к Факультативному протоколу и Конвенции против пыток, государства-участники не только признают компетенцию соответствующих комитетов принимать и рассматривать индивидуальные сообщения, но и обязуются добросовестно сотрудничать с этими органами, в частности путем подготовки правовой позиции по приемлемости и существу какого-либо сообщения, принятия необходимых мер по исполнению решений договорными органами ООН по правам человека, а также исполнения временных мер.

В апреле 2025 года Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда (далее — Судебная коллегия) признала обязательный характер временных мер, запрашиваемых Комитетом по правам человека[127]. Изначально 7 августа 2023 года должники Л. Н. Казорина, О. Н. Казорин и М. О. Казорин обратились в отделение судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска с заявлением о приостановлении исполнительного производства об их выселении из жилого помещения в связи с подачей ими жалобы в КПЧ. Заявители также приложили письмо Комитета от 8 июня 2023 года, в котором, в частности, Российскую

[123] HRCmttee. *N. S. v. Russian Federation*. Communication no. 2192/2012. Views of 27 March 2015. Para. 8.3. https://juris.ohchr.org/casedetails/3089/en-US.

[124] HRCmttee. *K. B. v. Russian Federation.* Communication no. 2193/2012. Views of 10 March 2016. Para. 8.3. https://juris.ohchr.org/casedetails/2100/en-US.

[125] См.: CAT. *Pelit v. Azerbaijan*. Communication no. 281/2005. Views of 1 May 2007. Para. 10.2. https://juris.ohchr.org/casedetails/99/en-US.

[126] См.: CAT. *Dar v. Norway*. Communication no. 249/2004. Views of 16 May 2007. Para. 16.3. https://juris.ohchr.org/casedetails/98/en-US.

[127] Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. по делу № 34-КАД25-1-К3.

Федерацию запрашивали приостановить выселение заявителей из спорной квартиры или обеспечить им надлежащее альтернативное жилье, пока сообщение находится на рассмотрении Комитета. Получив отказ от судебного пристава-исполнителя Октябрьского округа г. Мурманска УФССП России, заявители безуспешно пытались обжаловать его в российских судах[128]. Однако судебные инстанции исходили из того, что обращение в Комитет по правам человека не является основанием для приостановления исполнительного производства согласно статье 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ (далее — Закон об исполнительном производстве), которая содержит исчерпывающий перечень таких оснований[129]. Сославшись напрямую на норму 94 правила процедуры Комитета по правам человека от 4 января 2021 года, Судебная коллегия отметила, что непринятие временных мер несовместимо с обязательством добросовестно соблюдать процедуру рассмотрения индивидуальных сообщений согласно Факультативному протоколу[130]. В итоге Судебная коллегия признала незаконным отказ судебного пристава-исполнителя Октябрьского округа г. Мурманска УФССП России от 14 августа 2023 года и возложила на него обязанность приостановить исполнительные производства в отношении заявителей до рассмотрения их сообщения в КПЧ[131]. Несмотря на такую, на первый взгляд, прогрессивную позицию Верховного Суда, представляется, что признание временных мер Комитета по правам человека в апреле 2025 года скорее состоялось *ad hoc*. В *деле Казориных* Судебная коллегия лишь расширила перечень оснований приостановления исполнительного производства, предусмотренный статьей 40 Закона об исполнительном производстве, включив в него и временные меры КПЧ.

Вместе с тем 11 февраля 2026 года Президиум ВС РФ отменил кассационное определение Судебной коллегии и оставил в силе решения нижестоящих судов[132]. Прибегнув к буквальному толкованию, Президиум ВС РФ отметил, что ни Международный пакт, ни Факультативный протокол не закрепляют обязательство государств-участников по исполнению

---

128 См.: Решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 11 октября 2023 г. по делу 2а-4776/2023; Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Мурманского областного суда от 7 февраля 2024 г. по делу № 33а-579/2024; Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 17 июля 2024 г. по делу № 8а-13691/2024.

129 Там же.

130 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. № 34-КАД25-1-К3.

131 Там же.

132 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 11 февраля 2026 г. по делу № 5-НАД25.

запросов КПЧ о временных мерах[133]. В этой связи Президиум заключил, что «направление Комитетом просьбы о принятии временных мер на время рассмотрения обращения носит *рекомендательный характер* и не является безусловным основанием для принятия уполномоченными органами решения о приостановлении исполнительного производства» (курсив мой. — *Р. А.*)[134]. Не согласившись с расширительным толкованием статьи 40 Закона об исполнительном производстве, Президиум в то же время разъяснил, что при наличии соответствующего запроса КПЧ о принятии временных мер вопрос относительно приостановления исполнительного производства может быть рассмотрен судом (а не судебным приставом-исполнителем) согласно статье 39 Закона об исполнительном производстве, статье 440 ГПК РФ и статье 359 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации[135]. Следует отметить, что в статье 39 Закона об исполнительном производстве содержится неисчерпывающий перечень оснований для приостановления исполнительного производства. Однако данная статья напрямую не признает наличие запроса договорных органов ООН о временных мерах в качестве подобного основания. Таким образом, Президиум ВС РФ передал вопрос о признания запроса КПЧ о временных мерах в качестве основания для приостановления исполнительного производства на усмотрение ординарных судов.

Заключение

В настоящем исследовании представлены примеры возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств, пересмотра дела и получения возмещения вреда, а также исполнения временных мер Комитета по правам человека. Их анализ позволяет понять, что категорически ответить на вопрос о прогрессе или регрессе в сфере исполнения решений договорных органов ООН по правам человека в настоящее время не представляется возможным. Впервые на проблему исполнения решений этих органов (на примере решений КПЧ) обратил внимание Конституционный Суд в *деле Хорошенко*, высказав достаточно осторожную и ограниченную конституционно-правовую позицию о том, что решение КПЧ может служить основанием для возобновления производства по уголовному делу заявителя ввиду новых обстоятельств. Впоследствии этот подход был распространен и на гражданские дела Верховным Судом в *деле Медведевой*. Тем не менее использование подхода Верховного Суда,

133 Там же.
134 Там же.
135 Там же.

основанного на связке с пунктом 4 части 4 статьи 392 ГПК РФ, представляется маловероятным с учетом признания упомянутого пункта утратившим силу в 2022 году. Однако не следует полностью исключать такую возможность. Несмотря на позитивные примеры изменения обвинительных приговоров по *делам Мамонова и Костина* и расширительное толкование конституционно-правовой позиции Верховным Судом, важно помнить, что лишь в исключительных случаях договорные органы ООН по правам человека прямо указывают в качестве индивидуальной меры возобновление производства по делу или его пересмотр. Более того, именно на заявителе или его представителе лежит обязанность по исполнению решений договорных органов ООН по правам человека на внутригосударственном уровне посредством обращения в органы прокуратуры с целью инициирования возобновления производства по делу, либо обращения в Президиум ВС РФ с заявлением о пересмотре дела в надзорном порядке. Исходя из ограниченного количества примеров российской судебной практики, можно предположить, что после завершения процедуры рассмотрения индивидуального сообщения квазисудебным органом ООН по правам человека большая часть заявителей не обращаются в национальные органы с целью их исполнения. Хотя зачастую договорные органы присуждают заявителям компенсацию, ее получение зависит от обстоятельств каждого конкретного дела. Даже вопрос определения размера компенсации является прерогативой ординарных судов. Одновременно с этим на уровне Верховного Суда был рассмотрен и вопрос о признании запроса Комитета по правам человека в качестве одного из оснований для приостановления исполнительного производства. Подчеркнув рекомендательный характер подобных запросов, Президиум ВС РФ полностью не исключил возможность их исполнения, передав решение этого вопроса на усмотрение ординарных судов.

Серьезной преградой исполнения решений договорных органов ООН по правам человека в Российской Федерации остается правовой пробел в законодательном регулировании и отсутствие институциональных механизмов, которые отвечали бы за исполнение решений подобных органов. Еще в 2012 году федеральному законодателю было рекомендовано создать механизм уголовно-процессуального реагирования на соображения Комитета по правам человека[136]. Тем не менее идея

[136] Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1248-О «По жалобе гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

создания подобного механизма так и осталась нереализованной. Фактически роль законодателя на себя примеряют Конституционный Суд и Верховный Суд, которые выступают протагонистами процессуального реагирования на решения универсальных органов по правам человека, вынесенных в отношении России. На данный момент в вопросе об оценке исполнения решений таких органов в Российской Федерации не представляется возможным «поставить точку». Вероятно, можно было бы пока обойтись «двоеточием» и ожидать новых позитивных примеров из российской судебной практики. Используя терминологию Э. Гусмана, договорные органы ООН по правам человека преимущественно выполняют «информационную» функцию (Guzman, 2008, p. 51) ввиду ограниченного потенциала исполнения их решений в Российской Федерации.

Список литературы / References

1. Абашидзе, А. Х., Солнцев, А. М. (2012). Мирное разрешение международных споров: современные проблемы: Монография. РУДН.
   Abashidze, A. H., & Solntsev, A. M. (2012). Peaceful resolution of international disputes: current issues: Monograph. RUDN University.
2. Автономов, А. С. (2013). Рассмотрение индивидуальных сообщений договорными органами в системе Организации Объединённых Наций. *Международное правосудие*, *7*(3), 78–94.
   Avtonomov A. S. (2013). Consideration of individual communications by treaty bodies in the Organization of the United Nations system. *Mezhdunarodnoe pravosudie*, *7*(3), 78–94.
3. Бартенев, Д. Г. (2016). Запрещённые профессии для женщин: новый повод для диалога Конституционного Суда России и Комитета ООН? *Международное правосудие*. *19*(3), 37–47.
   Bartenev, D. G. (2016). Prohibited professions for women: a new cause for the dialogue between the Russian Constitutional Court and a UN Committee? *Mezhdunarodnoe pravosudie*, *19*(3), 37–47. https://doi.org/10.21128/2226-2059-2016-3-37-47
4. Богатыренко, И. А. (2023). Правовое значение суждений экспертных договорных органов по правам человека и их роль в международном правосудии. *Российский юридический журнал*, 3, 35–53.
   Bogatyrenko, I. A. (2023). Legal value of pronouncements of expert human rights treaty bodies and their role in international justice. *Rossiiskii yuridicheskii zhurnal.* 3, 35–53.
   https://doi.org/10.34076/20713797_2023_3_35

5. Зимненко, Б. Л. (2023). О значении для судов Российской Федерации практики международных договорных органов ООН. *Правосудие*. *5*(1), 54–90.
Zimnenko, B. L. (2023). On the importance for the courts of the Russian Federation of the practice of international treaty bodies of the United Nations. *Pravosudie*, *5*(1), 54–90.
https://doi.org/10.37399/2686-9241.2023.1.54-90
6. Исполинов, А. С. (2022). Сила и слабость универсальных договоров о защите прав человека. *Российский юридический журнал*, 3, 26–43.
Ispolinov, A. S. (2022). Strengths and weaknesses of universal human rights treaties. *Rossiiskii yuridicheskii zhurnal*, 3, 26–43.
https://doi.org/10.34076/20713797_2022_3_26
7. Лунёв, А. А. (2025). Правозащитный механизм СНГ: критический анализ на деятельность Комиссии по правам человека. *Международное правосудие*, *15*(3), 116–138.
Lunev, A. A. (2025). The human rights mechanism of the Commonwealth of Independent States: a critical analysis of the Human Rights Commission's work. *Mezhdunarodnoe pravosudie, 15*(3), 116–138.
https://doi.org/10.21128/2226-2059-2025-3-116-138
8. Марочкин, С. Ю. (2023). Решения международных судов и договорных органов по правам человека в российской судебной практике: новая реальность, первые результаты, возможные перспективы. *Сравнительное конституционное обозрение*. *32*(4), 32–55.
Marochkin, S. Yu. (2023). Decisions of International courts and treaty bodies in Russian judicial practice: new reality, first results, possible prospects. *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie*, *32*(4), 32–55.
https://doi.org/10.21128/1812-7126-2023-4-32-55
9. Мюллерсон, Р. А. (1991). Права человека: идеи, нормы, реальность. Юрид. лит.
Mullerson, R. A. (1991). Human Rights: ideas, norms, and reality. Yurid. lit.
10. Осипов, А. Л. (2023). Актуальные вопросы применения решений межгосударственных органов по правам человека в уголовном судопроизводстве РФ. *Lex russica*, *76*(3), 72–86.
Osipov, A. L. (2023). Topical issues of application of decisions of interstate human rights bodies in criminal proceedings of the Russian Federation. *Lex russica*, *76*(3), 72–86.
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.196.3.072-086
11. Солнцев, А. М., Конева, А. Е. (2013). Юридический статус актов договорных органов по правам человека в национальных правовых системах. *Международное правосудие*, *3*(4), 82–93.

Solntsev, A. M., & Koneva, A. E. (2013). Legal status of acts of the UN human rights treaty bodies in national legal systems. *Mezhdunarodnoe pravosudie*, *3*(4), 82–93.

12. Тузмухамедов, Б. Р. (2021). Универсальные договорные органы по правам человека и их место среди международных институтов. *Государство и право*, 7, 151–160.
    Tuzmukhamedov, B. R. (2021). Universal human rights treaty bodies and their place among international institutions. *Gosudarstvo i pravo*, 7, 151–160. https://doi.org/10.31857/S102694520016187-6
13. Улттургашев, П. Ю. (2023). Правовое оформление выхода Российской Федерации из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. *Теоретическая и прикладная юриспруденция*, 4, 43–51.
    Ulturgashev, P. Yu. (2023). Legal framework for Russian Federation leaving the jurisdiction of the European Court of Human Rights. *Teoreticheskaya i prikladnaya yurisprudentsiya*, 4, 43–51.
    https://doi.org/10.22394/2686-7834-2023-4-43-51
14. Халафян, Р. М. (2024). Участие СССР и России в международных механизмах защиты прав человека: новый путь или повторение предыдущего? *Международное правосудие*, *14*(2), 119–141.
    Khalafyan, R. M. (2024). USSR and Russian Federation participation in international mechanisms for the protection of human rights: a new path or a repeat of the previous one? *Mezhdunarodnoe pravosudie*, *14*(2), 119–141. https://doi.org/10.21128/2226-2059-2024-2-119-141
15. Abashidze, A., Koneva, A., & Solntsev, A. (2024). The impact of the United Nations human rights treaties on the domestic level in the Russian Federation. In C. Heyns, F. Viljoen, R. Murray. (Eds.). *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On* (pp. 899–1002). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004377653_017
16. Guzman, A.T. (2008). How international law works: a rational choice theory. Oxford University Press.
17. Kanetake, M. (2018). UN human rights treaty monitoring bodies before domestic courts. *International and Comparative Law Quarterly*, *67*(1), 201–232. https://doi.org/10.1017/S002058931700046X
18. Pillay, R. (2021). The politics of interim measures in international human rights law. In: E. Rieter, K. Zwaan. (Eds.). *Urgency and Human Rights: The Protective Potential and Legitimacy of Interim Measures* (pp. 65–86). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-415-0_4
19. Rodley, N.S. (2013). The role and impact of treaty bodies. In D. Shelton. (Ed.). *The Oxford Handbook of International Human Rights Law* (pp. 621–648). Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/law/9780199640133.003.0027
20. Sánchez Madrigal, E., & Zyberi, G. (2022). The function and legal status of interim measures indicated by various human rights bodies and the International Court of Justice. NCHR Occasional Paper Series № 15. https://doi.org/10.2139/ssrn.4299067.
21. Shelton, D. (2011). The legal status of normative pronouncements of human rights treaty bodies. In H.P. Hestermeyer, D. König, N. Matz-Lück, V. Röben, & A. Seibert-Fohr (Eds.) *Coexistence, Cooperation and Solidarity. Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum.* (Vol. 1) (pp. 553–575). Martinus Nijhoff Publishers.
22. Shikhelman, V. (2019). Implementing decisions of international human rights institutions – evidence from the United Nations Human Rights Committee. *European Journal of International Law*, *30*(3), 753–777.
23. Tomuschat, C. (2014). Human rights: between idealism and realism. 3rd ed. Oxford University Press. https://doi.org/10.2307/1562538
24. Uprimny, R., Ruano, S. & García, G.M. (2024). The impact of the United Nations human rights treaties on the domestic level in Colombia. In C. Heyns, F. Viljoen, R. Murray. (Eds.). *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On* (pp. 227–287). Brill.
25. Van Alebeek, R., Nollkaemper, A. (2012). The legal status of decisions by human rights treaty bodies in national law. In H. Keller, G. Ulfstein (Eds.) *UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy* (pp. 356–413). Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139047593.009

Научная статья / Research Article
https://doi.org/10.17323/jil.2026.39148

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | INTERDISCIPLINARY RESEARCHES

Эффективность внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику посредством экономических инструментов: международно-правовой аспект

В. А. Габриелов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
vadim-gabrielov@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5796-7851

Аннотация

Теория стейкхолдеров предполагает, что заинтересованные в деятельности компании лица (стейкхолдеры) влияют на принимаемые ею решения, включая внедрение международных экологических стандартов, а также на положение компании на рынке. Исследователи зачастую оценивают эффективность имплементации этих стандартов на основе ESG-рейтинга или динамики финансовых показателей компании. При этом анализируются преимущественно позиции менеджмента компании и ее инвесторов. В настоящей статье применяется интегрированный менеджериальный метод, с помощью которого выявляются критерии эффективности имплементации компаниями международных экологических стандартов с позиции менеджмента, инвесторов, регулятора и законодателя, кредитных организаций, саморегулируемых организаций, фондовых бирж и потребителей — то есть всех лиц, с которыми взаимодействует в процессе ведения своей деятельности большинство компаний. Указанный метод предполагает использование «теории стейкхолдеров» для определения того, как заинтересованные лица влияют на принятие решений в компании и оценивают эффективность внедрения международных экологических стандартов в ее бизнес-практику, и элементов правового метода для анализа позиции разработчиков этих стандартов об эффективности их имплементации. Применение данного подхода позволяет выявить ряд тенденций, влияющих на развитие международного права. Одна из них — децентрализация, в условиях которой такие заинтересованные лица, как регулятор и фондовая биржа, все чаще отказываются от разработки собственных экологических стандартов и принимают международные стандарты в качестве основных. Следствием децентрализации является преобладание рекомендательных норм над обязательными. Кроме того, при разработке международных экологических стандартов в последние годы в большей степени учитываются интересы компании и заинтересованных в ее деятельности лиц, в особенности инвесторов. В статье делается вывод, что тенденция интеграции

экономической составляющей в эти стандарты будет развиваться и может затронуть иные отрасли, регулирующие отношения с участием бизнеса.

Ключевые слова: ESG, международные экологические стандарты, экономические инструменты, устойчивое развитие, устойчивые финансы, устойчивые инвестиции, стейкхолдеры

Для цитирования: **Габриелов** В. А. Эффективность внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику посредством экономических инструментов: международно-правовой аспект. *Журнал ВШЭ по международному праву / HSE University Journal of International Law.* 2026. Том 4. № 1. С. 121–151.

Вадим Аркадьевич Габриелов — аспирант, департамент международного права.

ESG and finance: the role of economic instruments in implementing international environmental standards in business practices

V. Gabrielov

HSE University, Moscow, Russia

vadim-gabrielov@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5796-7851

Abstract

According to the stakeholder theory, individuals who, for one reason or another, have an interest in a company's activities, referred to as stakeholders, exert influence on the company's decision-making, including decisions related to the implementation of international environmental standards in its business practices, as well as on its position in the market. Scholars tend to assess the effectiveness of the implementation of these standards based on ESG ratings or the dynamics of the financial performance of the company, primarily analysing the views of its managers and investors. This article applies an integrated managerial approach to identify criteria for the effectiveness of companies' implementation of international environmental standards from the perspective of management, investors, regulators and legislators, credit institutions, self-regulatory organisations, stock exchanges, and consumers — that is, all parties with whom most companies interact in the course of conducting their activities. This approach uses stakeholder theory to determine how stakeholders influence the decision-making process in the company and understand the effectiveness of the implementation of international environmental standards in its business practices. It also integrates elements of the legal method to analyse the views of the developers of these standards on the effectiveness of their implementation. In the course of the research, several tendencies that affect international law have been identified. One of these tendencies is decentralisation. It manifests itself in the fact that stakeholders such as regulators and stock exchanges

increasingly prefer to accept international ecological standards as primary standards instead of developing their own. Decentralisation leads to soft law regulation being more prevalent than binding norms. In addition, in recent years, the developers of international ecological standards have been increasingly taking the interests of the company and its stakeholders, particularly investors, into account. The paper concludes that the trend of integrating the economic element into these standards will continue and may affect other branches regulating relations involving business.

Key words: ESG, international ecological standards, economic instruments, sustainable development, sustainable finance, sustainable investment, stakeholders

Citation: Gabrielov V. ESG and finance: the role of economic instruments in implementing international environmental standards in business practices. *HSE University Journal of International Law*. 2026. Vol. 4. No. 1. P. 121–151.

Vadim A. Gabrielov — postgraduate student, School of International Law.

Введение

Субъекты предпринимательской деятельности готовы добровольно изменять свои бизнес-практики, если есть основания полагать, что это положительно скажется на их прибыли и иных финансовых показателях. В последние годы инвесторов живо интересует, соблюдают ли компании экологические, социальные и корпоративные стандарты (далее — ESG)[1]. По данным KPMG, в 2025 году компании в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке поддерживали высокий уровень соблюдения ESG-стандартов[2]. Наиболее прогрессивны в этом контексте энергетические и ресурсные компании, а также финансовые, технологические и телекоммуникационные корпорации; сектора инфраструктуры и здравоохранения, напротив, показывают наиболее низкие результаты[3].

По мнению ученых (Jebe, 2019, p. 665–667), среди прочих факторов на интеграцию экономического компонента в международные экологические стандарты влияет желание инвесторов получать достоверную информацию о воздействии компаний на окружающую среду и соблюдении ими прав человека. Такой запрос со стороны рынка в сочетании с необходимостью

[1] World Bank. (2018). Incorporating environmental, social and governance factors into fixed income investment. http://hdl.handle.net/10986/29693; Ernst & Young. (2022). How can corporate reporting bridge the ESG trust gap? https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/insights/assurance/documents/ey-global-reporting-survey-report-2022.pdf.

[2] KPMG. (2025). ESG Assurance Maturity Index 2025. https://kpmg.com/xx/en/our-insights/esg/esg-assurance-maturity-index.html

[3] Ibid.

поиска наиболее действенного механизма мотивирования субъектов предпринимательской деятельности к соблюдению международных экологических стандартов привел к созданию экономико-ориентированных ESG-стандартов, включая Стандарты отчетности устойчивого развития Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития SASB[4], Глобальную инициативу по отчетности GRI[5], Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с климатом TCFD[6].

Немало исследований посвящено международным экологическим стандартам, в том числе их разработке и имплементации. Такие работы, как правило, носят междисциплинарный характер. Достаточно часто их авторы обращаются к проблеме измерения эффективности имплементации этих стандартов в предпринимательской практике в числовом значении — например, с помощью ESG-рейтингов (Zheng, Khurram, Chen, 2022, p. 1). Кроме того, распространен экономико-ориентированный подход, при котором эффективность понимается с позиции интересов представителей бизнеса. Сторонников данного подхода интересует, способно ли соблюдение международных экологических, социальных и корпоративных стандартов улучшить финансовые показатели компании (Gubareva et al., 2023). Особое внимание уделяется анализу реакции инвесторов на соблюдение либо несоблюдение этих стандартов компанией (Amel-Zadeh, Serafeim, 2018, p. 2–3, 24–25).

Перспективным представляется применение более широкого варианта экономико-ориентированного подхода, предполагающего оценку эффективности имплементации международных экологических стандартов с позиции не только инвесторов, но и иных заинтересованных сторон, оказывающих влияние на решения, принимаемые компанией, и ее положение на рынке, то есть сквозь призму «теории стейкхолдеров»[7]. Такие лица имеют разные, даже конфликтующие, интересы и ожидания в отношении деятельности компании в целом и имплементации ею

---

4 SASB Standards. https://www.sasb.org/standards/download/.

5 GRI Standards. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/.

6 Recommendations of the task force on climate-related financial disclosures. https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf.

7 Теория стейкхолдеров — концепция менеджериальной науки, согласно которой компаниям для достижения целей своей деятельности необходимо учитывать интересы заинтересованных сторон, именуемых стейкхолдерами. Эти лица имеют возможность влиять как на принимаемые в компании решения, так и на ее положение на рынке. К таким лицам относятся, например, менеджмент компании, инвесторы, регулятор, саморегулируемые организации и потребители.

международных экологических стандартов в частности. Следовательно, выработка единого для всех этих лиц критерия эффективности была бы нецелесообразной. Разнообразие их позиций, однако, не означает, что критерии эффективности имплементации международных экологических стандартов для каждой компании существенно различаются. Перечень заинтересованных лиц является открытым: возможно определить, с кем взаимодействует большинство компаний, и исследовать позиции таких лиц. К ним, в частности, относится менеджмент компании, инвесторы, регулятор и законодатель, кредитные организации, саморегулируемые организации (далее — СРО), фондовые биржи и потребители.

В первой части настоящей статьи представлена классификация международных экологических стандартов, во второй — рассматривается их имплементация посредством экономических инструментов, в третьей — раскрывается методология исследования эффективности имплементации международных экологических стандартов в бизнес-практике. Далее автор определяет критерии эффективности имплементации международных экологических стандартов компаниями с позиции указанных заинтересованных лиц, что обеспечивает применимость результатов исследования к широкому кругу компаний вне зависимости от сферы их деятельности. В завершение приводится краткая характеристика тенденций развития международно-правового регулирования в сфере экологических стандартов, выявленных в ходе исследования.

Результаты исследования, представленные в статье, могут быть полезны для представителей бизнеса и инвесторов, а предложенный подход к оценке эффективности внедрения международных экологических стандартов может применяться в последующих исследованиях по данной тематике.

1. Виды международных экологических стандартов

Классифицировать международные экологические стандарты можно по четырем основаниям. Так, по степени распространения выделяются универсальные и региональные стандарты. По субъекту принятия они делятся на принятые государствами, международными межправительственными организациями и международными неправительственными организациями. По способу имплементации выделяются стандарты, имплементируемые посредством экономических инструментов, и стандарты, имплементируемые с использованием иных механизмов. По степени обязательности стандарты делятся на обязательные и рекомендательные.

Универсальные международные экологические стандарты закреплены в многосторонних международных договорах, затрагивающих различные вопросы защиты окружающей среды, включая Киотский протокол 1997 года[8], в котором впервые был использован такой экономический инструмент, как торговля квотами на выбросы, и Парижское соглашение 2015 года[9], направленное на борьбу с глобальным потеплением. Другие примеры универсальных стандартов — Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года[10] и Руководящие принципы для многонациональных предприятий Организации экономического сотрудничества и развития (далее — ОЭСР) 2011 года[11].

Региональными международными экологическими стандартами являются, например, стандарты Европейского союза (далее — ЕС), затрагивающие экологическое и ESG-регулирование, такие как Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 2019/2089 от 2019 года, посвященный ESG-стандартам[12], и Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 2020/852 от 2020 года, направленный на развитие практики «устойчивых» инвестиций[13]. Инициативы по разработке подобных стандартов осуществляются и на базе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (далее — АСЕАН). Так, в 2022 году был принят Стандарт облигаций, связанных с устойчивым развитием[14].

К международным экологическим стандартам, принятым государствами, так же как и к универсальным, относятся международные договоры, затрагивающие различные вопросы охраны окружающей среды, в частности Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый

---

8 Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (Подписан в г. Киото 11.12.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 7 марта 2005 г. № 10. Ст. 764.

9 Парижское соглашение 2015 г. // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 06.11.2019, № 0001201911060026.

10 Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. // Бюллетень международных договоров, 1996, № 9, с. 3–28.

11 OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en.

12 Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks // The Official Journal of the European Union. 2019. OJ L 317. P. 17–27. http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2089/oj.

13 Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 // The Official Journal of the European Union. OJ L 198. P. 13–43. http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.

14 ASEAN Sustainability-linked Bond Standards. https://www.theacmf.org/initiatives/sustainable-finance/asean-sustainability-linked-bond-standards

слой 1987 года[15], Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года[16], Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 2001 года[17], Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 года[18]. Примерами стандартов, принятых международными межправительственными организациями, являются перечисленные выше стандарты ЕС и АСЕАН.

К стандартам, принятым международными неправительственными организациями, относятся ESG-стандарты, такие как GRI, SASB и TCFD, а также различные стандарты, разработанные Международной организацией по стандартизации (далее — ИСО), такие как ИСО 14030-1:2021 «Оценка экологической результативности. Зеленые долговые инструменты. Часть 1. Механизм зеленых облигаций»[19].

Круг применяемых в настоящее время экономических инструментов, направленных на стимулирование как государств, так и негосударственных субъектов соблюдать международные экологические стандарты, достаточно широк: торговля квотами на выбросы; «зеленые» налоги; субсидирование для оказания поддержки компаниям, готовым привести свою деятельность в соответствие экологическим стандартам; «зеленое» инвестирование и стимулирование к нему; экоэтикетки. К примеру, для имплементации Киотского протокола и Парижского соглашения государства на национальном уровне создают системы торговли квотами на выбросы. В России в настоящее время осуществляется эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области[20]. Компании региона, участвующие в эксперименте, могут продавать друг другу так называемые единицы исполнения, уложившись в установленную квоту. Примером стандартов, требующих имплементации посредством экономических инструментов, являются стандарты Морского попечительского совета[21], которые дают возможность хозяйствующим субъектам, занимающимся рыболовством, привести свою деятельность в соответствие экологическим

---

15 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г. // Бюллетень международных договоров. 2006. № 7.

16 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 г. // Бюллетень международных договоров. 1996. № 12. С. 3–24.

17 Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 февраля 2012. № 7. Ст. 785.

18 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г. // Бюллетень международных договоров, 1996, № 7. С. 3–33.

19 ISO 14030-1:2021. https://www.iso.org/standard/43254.html.

20 Федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.03.2022. № 10. Ст. 1391.

21 Fisheries program documents. https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/fisheries-standard-program-documents.

нормативам в обмен на возможность использования экоэтикеток, улучшающих их репутацию на рынке.

Кроме того, существуют международные экологические стандарты, предполагающие иные пути имплементации, в частности Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года[22]. Для ее имплементации требуется применение регуляторных механизмов, а именно «перенос» перечисленных в ней запретов в национальное законодательство. Имплементация Конвенции о водно-болотных угодьях 1971 года[23] предполагает создание на национальном уровне перечня водно-болотных угодий, а также определение порядка их эксплуатации и мер по их охране.

Обязательный характер носят международные экологические стандарты, содержащиеся в международных договорах, а также перечисленные стандарты ЕС. Остальные упомянутые стандарты, такие как ESG-стандарты корпоративной отчетности и стандарты ИСО, содержат исключительно нормы мягкого права.

Таким образом, в последние годы происходит активная интеграция экономического инструментария в международные экологические стандарты, носящие как обязательный, так и рекомендательный характер. Имплементация многих из них требует применения экономических инструментов вне зависимости от того, кто является имплементирующим субъектом — государство или субъект предпринимательской деятельности.

2. Экономические инструменты как путь имплементации международных экологических стандартов

Экономические инструменты — это методы воздействия на рынок, направленные на достижение таких целей как устойчивость и развитие финансовой системы, защита конкуренции и снижение экономических рисков (Erasmus, 2025, p. 241–242; Дорофеев, 2022, с. 197–199; Moloney, Ferran, Payne, 2015, p. 80–81). В международных экологических стандартах, принятых в 2000-х годах, фактически отсутствовал акцент на финансовой эффективности компании и использовались иные инструменты, мотивирующие представителей бизнеса к имплементации данных стандартов. Как указывает Э. Барман (Barman, 2018, p. 300–301),

[22] Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 540.

[23] Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г. // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1993. С. 191.

создание благоприятной среды для инвесторов не играло важной роли, поскольку приоритет отдавался самому факту соответствия компании определенным нормативам. Инструментами стимулирования внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику являлись морально-этические аргументы о социальной ответственности бизнеса и потенциальные выгоды от взаимодействия с заинтересованными лицами. При этом инвесторы не считались наиболее влиятельными из заинтересованных лиц, и их воздействию на финансовую эффективность компании не придавалось большого значения.

В последние годы в международное экологическое регулирование активно интегрируются концепции «устойчивых финансов» и «устойчивых инвестиций» (Archer, 2022, p. 20–22). Процесс такой интеграции закономерен, поскольку, как отмечают исследователи (Bae, Yang, Kim, 2021, p. 559), приверженность концепции социальной ответственности бизнеса и ранее оказывала влияние на финансовую эффективность компаний и рост их капитализации. Финансовые показатели компаний де-факто были связаны с соблюдением экологических стандартов еще до того, как эта связь получила отражение в самих стандартах.

Необходимо подчеркнуть, что приверженность компании концепции ESG оказывает влияние на ее финансовые показатели не напрямую, а прежде всего через инвесторов: именно инвесторы реагируют на результаты деятельности компании и тем самым воздействуют на ее финансовую эффективность (Folqué, Escrig-Olmedo, Corzo Santamaría, 2021, p. 876–877). Все больше инвесторов уделяют внимание вопросам устойчивого развития, что побуждает компании публиковать отчеты о воздействии на окружающую среду (Bradford, Earp, Williams, 2017, p. 11). Эта тенденция получила отражение в международных экологических стандартах. Одним из наиболее распространенных среди таких стандартов является Глобальная инициатива по отчетности (GRI). Количество стандартов, в которых нефинансовые показатели, включая воздействие компании на окружающую среду, регулируются в сочетании с финансовыми показателями, постоянно растет.

Одновременно с включением норм об отчетности в международные экологические стандарты наблюдается тенденция развития «устойчивых финансов» и «устойчивых инвестиций» посредством данных стандартов. Поскольку инвесторы придают существенное значение соблюдению компаниями соответствующих требований, представляется логичным стремление разработчиков использовать их для формирования благоприятного инвестиционного климата. Так, в Регламенте Европейского

парламента и Совета ЕС № 2020/852[24] от 2020 года указано, что его принятие призвано способствовать формированию базы для содействия инвестициям «устойчивого развития», а «устойчивые финансы» должны стать основой для развития экономики.

Экономические инструменты, закрепленные в международных экологических стандартах, рассматриваются как механизм стимулирования бизнеса к их интеграции в корпоративные практики (Pranith, 2023, p. 1–2). Речь идет прежде всего о включении в такие стандарты требований к раскрытию информации о воздействии компании на окружающую среду в целях информирования ее стейкхолдеров, а также норм, регулирующих различные аспекты «зеленого инвестирования», «зеленого проектного финансирования» и иных форм финансовой активности, соответствующих концепции «устойчивых финансов». Этот механизм стимулирования имплементации международных экологических стандартов представляется эффективным, поскольку компании имеют возможность ощутить позитивный результат их соблюдения в виде роста своих ключевых финансовых показателей вследствие притока инвестиций.

Таким образом, экономические инструменты используются разработчиками международных экологических стандартов, чтобы мотивировать компании соблюдать стандарты на практике. Другие методы мотивации субъектов предпринимательской деятельности — в частности, морально-этический аргумент и перспектива упрощения взаимодействия не только с инвесторами, но и иными заинтересованными лицами, — по-прежнему применяются, но уступают по своей популярности экономическим инструментам. Основной причиной увеличения количества международных экологических стандартов, задействующих данный механизм имплементации, является его влияние на инвестиционную привлекательность компаний. Менеджмент компании осознает, что соблюдение этих стандартов создает благоприятный инвестиционный климат и способствует росту капитализации, тогда как отказ от их соблюдения может повлечь за собой негативную реакцию инвесторов.

[24] Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 // The Official Journal of the European Union. OJ L 198. P. 13–43. http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.

3. Методология исследования эффективности имплементации международных экологических стандартов в бизнес-практике

В академической литературе выделяют три основных метода оценки эффективности имплементации экологических стандартов в бизнес-практику: экономический, менеджериальный и правовой. Экономический метод, как правило, предполагает использование математических моделей и рейтинговых оценок. Менеджериальный метод связан с применением теории стейкхолдеров. Правовой — основан на системном анализе норм. Однако некоторые исследователи задействуют интегрированные подходы, к примеру, проводя системный анализ норм с использованием теории стейкхолдеров, чтобы оценить, насколько те или иные стандарты учитывают их интересы.

Экономический метод, основанный на применении рейтинговой оценки, — один из наиболее популярных в академической среде (Christensen, Serafeim, Sikochi, 2021, p. 1). Как отмечают А. К. Чаттерджи и М. В. Тоффел (Chatterji, Toffel, 2010, p. 918), рейтинги не только позволяют оценить приверженность компании принципам устойчивого развития и социальной ответственности, но и оказывают положительное влияние на развитие ее бизнес-практик. Исследования указанных авторов подтвердили взаимосвязь между низким ESG-рейтингом и последующей модернизацией производственных процессов: компания, получившая неудовлетворительный рейтинг, опасаясь за свою репутацию в глазах инвесторов, регулятора и потребителя, оптимизирует свои внутренние процессы с целью повышения рейтинга в будущем. Кроме того, М. Кханна, В. Р. Х. Куимио и Д. Боджилова (Khanna, Quimio, Bojilova, 1998, p. 246–249), используя математическую модель и эмпирические данные, доказали наличие взаимосвязи между снижением рыночной капитализации компании и ее низким рейтингом соответствия экологическим стандартам. Снижение капитализации является следствием реакции акционеров на информацию о том, что компания загрязняет окружающую среду. К аналогичным выводам приходят Б. Ченг, И. Иоанноу и Дж. Серафайм (Cheng, Ioannou, Serafeim, 2011, p. 26–27), исследование которых доказывает, что компании могут сталкиваться с финансовыми проблемами, если их рейтинг соответствия концепции социальной ответственности бизнеса низкий.

Таким образом, при применении экономического подхода исследователи опираются на ESG-рейтинг или рейтинг корпоративной социальной ответственности (CSR-рейтинг) компании и ее финансовые показатели, а также выстраивают математическую модель соответствия

между ними. В целом результаты, полученные при применении данного подхода, демонстрируют, что низкий рейтинг пагубно влияет на капитализацию компании, тогда как своевременные инвестиции в оптимизацию бизнес-процессов для их соответствия экологическим стандартам могут способствовать увеличению прибыли компании в будущем.

Несмотря на популярность ESG-рейтингов как мерила степени соблюдения компанией экологических стандартов, ряд ученых (Berg, Kölbel, Rigobon, 2022, p. 1316) отмечает частые расхождения между рейтингами, публикуемыми разными агентствами. Последние применяют разные методики расчетов, придавая большее значение отдельным показателям. В результате возникают трудности в использовании ESG-рейтингов как индикатора реальной ESG-эффективности компании. Кроме того, некоторые компании утрачивают доверие к рейтингам и, соответственно, мотивацию к дальнейшему внедрению экологических стандартов в свою деятельность, поскольку перестают воспринимать рейтинг как фактор конкурентного преимущества на рынке. Эта неопределенность свидетельствует о необходимости разработки иных подходов к оценке имплементации этих стандартов.

Одним из таких подходов является менеджериальный метод, подразумевающий применение теории стейкхолдеров (Donaldson, Preston, 1995, p. 67). Согласно данной теории компании недостаточно лишь исполнять свои обязанности перед акционерами, — необходимо также учитывать интересы различных заинтересованных лиц, к числу которых относятся не только акционеры компании, но и иные инвесторы, локальное сообщество, СРО, регулятор и другие субъекты (Ronalter, Bernardo, Romaní, 2023, p. 9069–9070). В целом стейкхолдеры определяются как любые лица или группы лиц, чьи интересы затрагиваются или могут быть затронуты деятельностью компании и достижением ею своих целей. Как отмечают некоторые ученые (Ronalter et al., 2023, p. 9069–9070), оптимизации производственных процессов с целью их приведения в соответствие с экологическими стандартами могут способствовать системы менеджмента окружающей среды. К таким системам относятся стандарты ИСО в области экологического менеджмента, в частности упомянутый выше ИСО 14007:2019 «Экологический менеджмент. Руководящие указания по определению экологических затрат и выгод» и ИСО 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по

применению» (в России — ГОСТ Р ИСО 14001-2016 от 2017 года[25]). Соответственно, менеджериальный подход включает анализ реакции заинтересованных лиц на имплементацию компанией экологических стандартов.

Что касается правового метода, то, к примеру, Д. А. Цетцше, М. Боделлини и Р. Консиглио (Zetzsche, Bodellini, Consiglio, 2022, p. 659–660) проводят анализ стандартов «устойчивых финансов» в ЕС, сопоставляя их с иными международными стандартами, которые затрагивают «зеленые финансы». Одновременно авторы оценивают сложность применения данных стандартов на практике, поскольку она непосредственно влияет на эффективность. Оценка при применении данного метода проводится посредством системного анализа правовых норм. Сходный, но несколько модифицированный подход использует М. Д. Х. Нелеманс (Nelemans, 2023, p. 231–232), который также проводит системный анализ правовых норм, однако интегрирует его с теорией стейкхолдеров и сравнением эффективности экологических, социальных и корпоративных стандартов, отраженных в обязательных и рекомендательных нормах.

В силу неопределенности ESG-рейтингов, на которую указывают исследователи, в настоящей статье представляется нецелесообразным задействовать экономический метод. Для получения объективного результата применение данного метода должно подкрепляться математическими моделями, построение которых выходит за рамки исследования. Правовой метод частично применяется в настоящей статье для системного анализа правовой составляющей экологических стандартов, однако он не может использоваться для анализа позиций стейкхолдеров компании. Соответственно, для осуществления такого анализа применяется менеджериальный метод, поскольку именно теория стейкхолдеров наделяет исследователя инструментарием, позволяющим определить интересы каждого заинтересованного лица и степень их влияния на компанию. Таким образом, в статье используется интегрированный менеджериальный метод, содержащий элементы правового метода. Данный метод предполагает использование теории стейкхолдеров для определения того, как именно каждое заинтересованное лицо влияет на принятие решений в компании и понимает эффективность внедрения международных экологических стандартов в ее бизнес-практику. Правовой метод в рамках интегрированного подхода применяется для анализа позиции

[25] ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. Введ. 2017-03-01. М.: Стандартинформ, 2018. 40 с.

разработчиков международных экологических стандартов относительно эффективности их имплементации. Эта позиция содержится непосредственно в текстах стандартов.

4. Оценка эффективности экономических инструментов как проводника экологических стандартов с позиции заинтересованных лиц компании

Заинтересованными лицами компании можно считать любых лиц, имеющих определенный интерес, связанный с ее деятельностью. Это определение достаточно пространно. Однако оно отражает реальную ситуацию: у любой компании может быть множество заинтересованных лиц, имеющих свои интересы, которые могут не совпадать и даже вступать друг с другом в конфликт. При этом данные лица обладают рычагами влияния на принимаемые в компании решения (Částek, Cenek, 2017, p. 188). Следовательно, они могут, в том числе, влиять на принятие решения о внедрении международных экологических стандартов в деятельность компании.

Круг лиц, которые в той или иной степени заинтересованы в эффективной имплементации международных экологических стандартов, достаточно широк. К примеру, менеджмент и упомянутые ранее инвесторы влияют на применение этих стандартов в компании. Кроме того, такое воздействие могут иметь СРО (Lee, Jung, Kwak, 2016, p. 423); фондовая биржа при проведении процедуры первичного публичного размещения (Bizoumi, Lazaridis, Stamou, 2023, p. 75); банки и микрокредитные организации (Park, Lee, 2023, p. 371); потребитель; регулятор. Последний оказывает влияние в рамках государственных закупок (Preuss, 2007, p. 357); в рамках надзора за соблюдением экологических стандартов, если они являются обязательными нормами в данной юрисдикции; в рамках процедуры лицензирования. Мнение каждого из этих лиц по исследуемому вопросу требует отдельного рассмотрения для формирования объективного вывода об эффективности использования экономических инструментов для имплементации международных экологических стандартов. Каждому лицу посвящен отдельный подпараграф.

4.1. Менеджмент компании

Поскольку ведение бизнеса направлено на извлечение прибыли, можно предположить, что лица, управляющие организацией, в первую очередь заинтересованы в увеличении доходности бизнеса, а также в росте его

капитализации. Возникает вопрос: влечет ли внедрение международных экологических стандартов столь благоприятные последствия для компании? Выше было упомянуто исследование, продемонстрировавшее снижение капитализации компании при снижении ее ESG-рейтинга, на который, в частности, влияет соблюдение этих стандартов. Аналогичные данные приводят Р. Алмейда и А. Дармансия (Almeyda, Darmansyah, 2019, p. 277), указывая, что анализ финансовых показателей компаний стран G7 выявил зависимость между капитализацией и рентабельностью инвестированного капитала, с одной стороны, и качеством отчетности о соблюдении экологических норм, публикуемой компанией, — с другой. Иными словами, наличие прозрачной и подробной отчетности способствует росту данных показателей.

В силу положительного влияния ESG-рейтинга и соблюдения экологических стандартов на ключевые для бизнеса показатели менеджмент компании в теории должен быть заинтересован в имплементации этих стандартов. Однако существуют исследования, демонстрирующие нерешительность советов директоров и генеральных директоров (CEO) компаний при принятии решения о внедрении стандартов в бизнес-практику. Как указывает Дж. Дж. Берк (Burke, 2022, p. 648), сомнения лиц, управляющих организацией, в данном случае могут быть связаны с недостаточностью и противоречивостью информации в СМИ о влиянии соблюдения экологических стандартов на финансовые показатели компаний. Представители менеджмента могут не располагать информацией и уровнем компетентности, необходимыми для оценки вероятности возврата инвестиции в изменение производственных процессов с целью их приведения в соответствие с экологическими стандартами (Hubbard, Christensen, Graffin, 2017, p. 2256–2258). Данная неопределенность ставит под сомнение эффективность имплементации стандартов, которая с точки зрения менеджмента выражается в росте прибыли и капитализации. Однако несоблюдение или недостаточное соблюдение экологических стандартов, обусловившее значительное снижение ESG-рейтинга и ущерб репутации компании, может вызвать резкую реакцию со стороны менеджмента — в частности, решение об отстранении генерального директора (Gangloff, Connely, Shook, 2016, p. 1617). Таким образом, представляется, что менеджмент компании понимает эффективность имплементации экологических стандартов как рост прибыли и капитализации, поскольку при снижении рейтинга и репутации компании уменьшается капитализация компании и ее инвестиционная привлекательность. Следовательно, резкая реакция со стороны лиц, осуществляющих управление компанией, и возложение ими

вины на генерального директора происходит не столько ввиду снижения рейтинга и репутации, сколько в силу негативных последствий такого снижения.

4.2. Инвесторы компании

Исходя из взаимосвязи между ростом капитализации и соблюдением экологических стандартов, можно сделать вывод, что инвесторы уделяют внимание ESG-рейтингам и информации, содержащейся в отчетах, публикуемых компанией. Дополнительным подтверждением этого выступают исследования, демонстрирующие, что инвесторы склонны предпочитать финтех-компании другим технологическим компаниям. Финтех-компании имеют наиболее высокий E-балл в ESG-рейтинге, то есть их бизнес-практики приведены в соответствие стандартам (Horobet et al., 2023). Интерес инвесторов к таким компаниям может быть связан с тем, что они получают достаточно высокую прибыль, а их решительность в изменении бизнес-практик для уменьшения пагубного воздействия на окружающую среду может рассматриваться как готовность к инновациям, необходимым для развития на рынке и потенциального увеличения прибыли (Horobet et al., 2023). Таким образом, инвесторы осознают эффективность внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику и их положительное влияние на развитие компании, которое, в свою очередь, может привести к росту прибыли и увеличению дивидендов. Вместе с тем нельзя исключать и морально-этическую оценку перехода к международным экологическим стандартам. Так, наблюдается тенденция приоритизации инвестирования в организации, соблюдающие данные стандарты (Archer, 2022, p. 24–25). Следовательно, говоря об эффективности внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику, следует подчеркнуть: все больше инвесторов полагают, что развитие компании с целью повышения прибыли и дивидендов необходимо, однако оно не должно осуществляться ценой пагубного воздействия на окружающую среду. Экспансия и диверсификация бизнеса, соответствующие концепции устойчивого развития, позволяют как создавать благоприятный инвестиционный климат и привлекать денежные средства, необходимые, например, для проектного финансирования, так и укреплять репутацию компании как имеющей высокие моральные ориентиры.

4.3. Регулятор и законодатель

Международные экологические стандарты преимущественно отражены в нормах мягкого права. Тем не менее они могут приобретать обязательный характер, в частности если речь идет о стандартах, закрепленных в регламентах Европейского парламента и Совета ЕС, а также об инкорпорации международных экологических стандартов в национальное законодательство. При наличии обязательных стандартов особое значение приобретает оценка эффективности их имплементации с позиции регулятора.

Рассматривая правовое регулирование ЕС в сфере охраны окружающей среды как яркий пример действия обязательных экологических стандартов — как региональных, так и инкорпорированных в национальное законодательство государств-участников, — следует отметить, что в странах ЕС функции регулятора, осуществляющего надзор за их соблюдением компаниями, выполняют органы финансового надзора (Vuong, 2022, p. 395–399). Наделение этих органов такими полномочиями резонно, поскольку в ЕС многие экологические стандарты напрямую связаны с экономическими инструментами: например, Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 2020/852 от 2020 года (формирует базу для содействия инвестициям «устойчивого развития»); Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 2019/2088 от 2019 года[26] (раскрытие информации в секторе финансовых услуг); Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2022/2464 от 2022 года[27] (стандарты отчетности об устойчивом развитии, в частности воздействии на окружающую среду и выбросах парниковых газов).

Некоторые положения подобных актов ЕС посвящены пониманию эффективности имплементации экологических стандартов. Так, в п. 2 упомянутого ранее Регламента Европейского парламента и Совета ЕС № 2019/2089 указано, что одной из целей принятия Парижского соглашения 2015 года[28] являлось приведение финансовых потоков в соответствие с курсом на снижение выбросов парниковых газов и развитие, не оказывающее пагубного воздействия на климат. Данный Регламент был принят, в частности, чтобы содействовать достижению этой цели. Интерес

---

[26] Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector // The Official Journal of the European Union. 2019. OJ L 317. P. 1–16. http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.

[27] Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting // The Official Journal of the European Union. OJ L 322. P. 15–80. http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj.

[28] Парижское соглашение 2015 г. // Бюллетень международных договоров. 2020. № 4.

представляет и пункт 8, в котором разъясняется, что достижение целей устойчивого развития в ЕС требует направления потоков капитала в устойчивые инвестиции, а также отмечается важность использования потенциала внутренних рынков государств-участников и устранения препятствий, ограничивающих возможность устойчивых инвестиций. Следовательно, с позиции ЕС как законодателя внедрение экологических стандартов эффективно, если оно действительно способствует, в частности через экономические инструменты, достижению целей устойчивого развития, определенных в международных договорах и в позициях соответствующих органов Союза.

Сходная позиция изложена в Директиве Европейского парламента и Совета ЕС № 2022/2464, в которой, помимо указания на эти цели, установлено, что нефинансовая информация, включая сведения об объемах выбросов парниковых газов, имеет финансовое значение для различных заинтересованных лиц компании. Данное положение свидетельствует о том, что законодатель придает большое значение экономическим инструментам как пути продвижения экологических стандартов в бизнес-среде, а также рассматривает информацию, содержащуюся в отчетности об их соблюдении, как один из факторов, влияющих, к примеру, на решения, принимаемые инвесторами.

Несмотря на то что законодатель напрямую не является заинтересованным лицом компании, его позиция в контексте настоящего исследования представляется значимой, поскольку регулятор выполняет возложенные на него законодателем функции. Следовательно, в ЕС органы финансового надзора, осуществляющие надзор и за соблюдением экологических стандартов, будут считать имплементацию этих стандартов эффективной, если компания действительно достигает целей устойчивого развития, что выражается в выполнении установленных нормативов воздействия на окружающую среду.

4.4. Банки и микрокредитные организации

Банки и микрокредитные организации — важные заинтересованные лица компании, так как в процессе ее деятельности всегда может возникнуть необходимость получить кредит или воспользоваться иной банковской услугой. Соответственно, в рамках настоящего исследования необходимо проанализировать их позицию относительно эффективности имплементации международных экологических стандартов в практику компаний. Банки, как правило, добровольно, без принуждения со стороны регулятора соблюдают эти стандарты. При этом сам факт соответствия им

не обеспечивает увеличения прибыли (La Torre, Leo, Panetta, 2021, p. 1629). Следовательно, можно сделать вывод, что банки не считают прибыль единственным мерилом эффективности имплементации международных экологических стандартов.

Банки и микрокредитные организации заинтересованы в привлечении инвестиций, как и многие другие компании. Имеет место тенденция, в силу которой инвесторы отдают предпочтение компаниям, чья деятельность соответствует концепции устойчивого развития. Денежные средства, которые может привлечь банк от таких инвесторов, оправдывают вложения в изменение устоявшихся бизнес-практик для достижения целей устойчивого развития. Кроме того, некоторые исследования (Menicucci, Paolucci, 2023, p. 579) демонстрируют корреляцию между снижением выбросов парниковых газов и ростом финансовых показателей банков. Следовательно, даже если банк не рассматривает прибыль в качестве показателя эффективности имплементации международных экологических стандартов, приведение деятельности в соответствие с ними в любом случае способствует увеличению объемов денежных средств, находящихся в распоряжении банка, благодаря привлеченным инвестициям.

Принимая во внимание возможности формирования привлекательного инвестиционного климата, становится очевидно, почему банки стремятся убедить компании, обращающиеся к ним для получения финансовых услуг, в необходимости соблюдения данных стандартов. Репутации банка может быть нанесен ущерб, если его контрагент не имплементировал их в свои бизнес-практики. Для того чтобы принудить контрагента соблюдать экологические стандарты, кредитная организация применяет экономические инструменты. Одной из наиболее распространенных таких практик является «зеленое кредитование». Компания обязана использовать денежные средства, полученные по такому кредиту, исключительно для обновления практик ведения бизнеса в русле концепции устойчивого развития, то есть не может нарушать экологические стандарты (Auzepy, Bannier, Martin, 2023, p. 644). Таким образом, в банковской сфере эффективность имплементации экологических стандартов понимается как реальная возможность путем приведения своей деятельности в соответствие с концепцией устойчивого развития привлечь инвесторов и контрагентов, которые тоже их соблюдают.

4.5. Саморегулируемые организации

СРО как заинтересованное лицо также имеет возможность воздействовать на бизнес с целью продвижения экологических стандартов. Существуют два основных подхода, которые СРО используют, чтобы побудить

участников рынка соблюдать данные стандарты. Во-первых, организация может принять собственные правила, обязательные для ее членов, если это предусмотрено законодательством. Во-вторых, она может способствовать тому, чтобы участники рынка имплементировали в свою практику международные экологические стандарты, а также соблюдали стандарты, установленные регулятором. При этом второй подход является более успешным, так как компании опасаются применения мер дисциплинарного воздействия со стороны СРО (Lee et al., 2016, p. 427–430).

Поскольку СРО заинтересована в финансовом успехе своих членов, продвижение в бизнес-среде экологических стандартов, в том числе международных, которое, как было проиллюстрировано выше, часто опирается на экономические инструменты, обусловлено нуждами и тенденциями рынка. Внедрение этих стандартов в деятельность бизнеса выгодно с точки зрения привлечения инвестиций, выстраивания взаимоотношений с регулятором, а также при выходе на рынки других стран. Следовательно, эффективность их имплементации СРО определяет как выгоду для участников в виде привлечения инвестиций и облегчения взаимодействия с регулятором, включая предотвращение применения санкций с его стороны.

4.6. Фондовая биржа

Фондовая биржа — ситуационное заинтересованное лицо, поскольку она имеет возможность напрямую воздействовать на решения, принимаемые компанией, преимущественно в тех случаях, когда последняя проходит процедуру первичного публичного размещения. В ходе этой процедуры биржа может потребовать от компании соблюдения экологических стандартов. При этом зачастую применяются именно международные экологические стандарты (Bizoumi et al., 2019, p. 27–73). Например, Арабская федерация рынков капитала в своем отчете[29] отмечает, что Фондовая биржа Абу-Даби признает такие международные стандарты как GRI, SASB, Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с климатом (далее — TCFD), и Глобальный договор ООН, а Дохийская биржа ценных бумаг имплементировала эти же стандарты, за исключением Рекомендаций TCFD. При этом также указывается, что основными лицами,

[29] ESG Integration in the Arab Region. https://arab-exchanges.org/upload/8238websiteESG%20Integration%20in%20the%20Arab%20World%20-%20EN.pdf.

заинтересованными в получении информации о соблюдении компанией стандартов, являются инвесторы, а задача бирж заключается в выборе стандартов, которые позволят им получить наиболее достоверные и прозрачные данные. Биржи заинтересованы в стабильном функционировании фондового рынка, поскольку от действий инвесторов, в частности, зависят колебания стоимости ценных бумаг (Bizoumi et al., 2019, p. 74–75).

Сходный подход, имеющий, однако, некоторые отличия, применяют биржи в Европе. К примеру, Фондовая биржа Афин сыграла значительную роль в продвижении концепции устойчивого развития в среде греческого бизнеса. Отличие заключается в том, что данная биржа не приняла международные экологические стандарты напрямую, но установила собственные стандарты. При их разработке для обеспечения соответствия лучшим мировым практикам в сфере ESG-стандартов использовались международные стандарты, такие как стандарты GRI и SASB (Bizoumi et al., 2019, p. 75–76).

Сингапурская биржа приняла Рекомендации TCFD в качестве основополагающего экологического стандарта. Как указано на ее официальном сайте, данный международный стандарт способствует раскрытию компаниями информации, необходимой участникам рынка, и его установление в качестве обязательного является первым шагом на пути к достижению устойчивого развития[30]. Гонконгская фондовая биржа, как и Фондовая биржа Афин, принимает собственные стандарты на основе международных. В настоящий момент Гонконгская фондовая биржа приводит свое руководство по ESG-отчетности в соответствие Рекомендациям TCFD[31].

Приведенные примеры позволяют сделать вывод, что для фондовых бирж эффективность имплементации международных экологических стандартов заключается в формировании благоприятных для инвесторов условий, необходимых для поддержания стабильности функционирования фондового рынка. Аналогичный вывод делает Ф. Форнасари (Fornasari, 2020, p. 228–229), отмечая, что биржи в своей регуляторной политике стремятся гармонизировать интересы компаний и их инвесторов, продвигая концепцию устойчивого развития.

---

30 Sustainability Reporting. https://www.sgx.com/sustainable-finance/sustainability-reporting.

31 Guidance on Climate Disclosures. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Environmental-Social-and-Governance/Exchanges-guidance-materials-on-ESG/guidance_climate_disclosures.pdf?la=en

4.7. Потребитель

Последним, но не менее значимым заинтересованным лицом, которое может влиять на принятие компанией решения о внедрении международных экологических стандартов, является потребитель. Некоторые исследователи (Chang, Chuang, 2021, p. 748) рассматривают потребителей как наиболее важных заинтересованных лиц, поскольку приобретение ими товаров и услуг выступает основным источником прибыли компании. Любой потребитель заинтересован в получении качественных товаров и услуг, однако качество — не единственный фактор, влияющий на его отношение к производителю. Так, наблюдается тенденция осознания потребителями ценности окружающей среды, а также культуры этичного потребления, то есть целью становится не только приобретение конкретного товара или услуги, но и одновременная забота об экологии, поддержка экологичного производителя (Chang, Chuang, 2021, p. 750–751). Следовательно, данное заинтересованное лицо будет считать имплементацию экологических стандартов, в том числе международных, эффективной, если ее результатом станет производство качественных товаров и услуг, не оказывающее негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, приобретая экологичную продукцию и отказываясь от приобретения товаров от производителей, не соблюдающих экологические стандарты, потребители влияют на их прибыль и тем самым вынуждают их внедрять эти стандарты в свои бизнес-практики.

4.8. Анализ позиций заинтересованных лиц: итоги

Анализ позиций заинтересованных лиц, известных также как стейкхолдеры, с которыми взаимодействует большинство компаний, выявил существенные различия в понимании ими эффективности внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику. К примеру, в то время как менеджмент компании заинтересован в имплементации этих стандартов, если она повлечет увеличение прибыли и рост капитализации, среди инвесторов наблюдаются две параллельные тенденции: заинтересованность в потенциальном увеличении дивидендов как следствии роста прибыли в результате имплементации и морально-этическая мотивация поддерживать лишь те компании, деятельность которых не наносит существенного вреда окружающей среде. Различные заинтересованные лица, таким образом, могут использовать различные и даже противоположные критерии эффективности имплементации международных экологических стандартов.

Заинтересованные лица способны влиять на принятие компанией решения о внедрении международных экологических стандартов, а разработчики этих стандартов активно применяют экономические инструменты, чтобы мотивировать субъектов предпринимательской деятельности к их соблюдению. В связи с этим учет рассмотренных позиций заинтересованных лиц при разработке международных экологических стандартов имеет ключевое значение для их распространения и популяризации в бизнес-среде. Собственно, в определенной степени такая практика уже существует, и экологическое законодательство ЕС — яркий, но не единственный ее пример. Так, стандарт GRI существует в нескольких версиях в зависимости от отрасли, и, как отмечают ученые, показатели воздействия на окружающую среду, раскрываемые компаниями в соответствии с его требованиями, основаны в том числе на запросах инвесторов и принимаются во внимание при составлении ESG-рейтингов, которым последние уделяют внимание (Toker, 2023, p. 1705). В стандарте TCFD[32] указано, что он способствует достижению баланса между интересами компаний и таких заинтересованных лиц как инвесторы и гражданское общество. Этот экономический инструмент можно обозначить как механизм воздействия реакции заинтересованных лиц на финансовое положение компании. Положительная реакция на получаемую от компании информацию о воздействии ее деятельности на окружающую среду способна улучшить репутацию компании, обеспечить рост ее капитализации, а отрицательная реакция в случаях, когда заинтересованные лица считают информацию недостоверной, пагубно влияет на репутацию и финансовое положение компании (Dewi, Harto, 2023, p. 608–617).

Такой подход лежит в основе всех международных экологических стандартов, носящих рекомендательный характер. Поскольку любой субъект предпринимательской деятельности заинтересован в улучшении своего положения на рынке, возможность негативной реакции со стороны заинтересованных лиц выступает альтернативой силе принуждения, которой обладают международные экологические стандарты, носящие обязательный характер. Ввиду очевидного влияния инвесторов на финансовое положение компании именно их понимание эффективности имплементации преимущественно учитывается при разработке этих стандартов. Так как компании постоянно взаимодействуют с более широким кругом заинтересованных лиц, представляется, что учет позиций как можно большего их числа мог бы повысить действенность

[32] Recommendations of the task force on climate-related financial disclosures. https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf.

экономического инструментария, используемого в этих стандартах для мотивирования компаний их соблюдать.

5. Тенденции развития международного-правового регулирования в сфере экологических стандартов

В процессе проведения исследования были выявлены определенные тенденции не только в поведении компаний и лиц, заинтересованных в их деятельности, но и в характере развития международных экологических стандартов. Эти тенденции имеют значение для международного права в целом и требуют отдельного рассмотрения.

Первая — тенденция интеграции экономической составляющей в международные экологические стандарты, которая выражается во внедрении в них экономических инструментов как основного мотиватора, способного побудить бизнес к имплементации стандартов. Эта тенденция представляется закономерной, поскольку привлечение инвестиций зачастую имеет для компаний гораздо большее значение, чем высокая цель охраны окружающей среды, так как ее достижение требует затрат на изменение устоявшихся бизнес-процессов.

В интеграции экономической составляющей в международные экологические стандарты, в свою очередь, проявляется общая для ряда отраслей международного права тенденция. Так, в международном финансовом праве наблюдается процесс, известный как децентрализация: усиливается роль компаний, ведущих международную деятельность, их профессиональных сообществ, а также международных организаций как субъектов, по инициативе которых формируются нормы, регулирующие международные финансовые отношения (Понаморенко, 2023, с. 34). Похожий процесс наблюдается в международном экологическом праве. Компании и их заинтересованные лица, такие как биржи и регуляторы, все чаще отказываются от разработки собственных стандартов, принимая международные стандарты в качестве эффективного инструмента регулирования пагубного воздействия на окружающую среду. Кроме того, при принятии этих стандартов наблюдается еще одна тенденция, а именно учет интересов компании и ее заинтересованных лиц. Ярким примером этой тенденции являются рассмотренные ранее экологические стандарты ЕС, в которых провозглашается цель стимулирования «устойчивых инвестиций». Законодатель учитывает интересы инвесторов и, соответственно, компаний, заинтересованных в привлечении инвестиций, создавая условия для устойчивого развития бизнеса. Представляется, что такой подход в будущем мог бы выйти за рамки международного

экологического права и шире использоваться в правовом регулировании отношений с участием бизнеса, поскольку экономический инструментарий, основанный на воздействии заинтересованных лиц на принятие решений в компаниях и их финансовое положение, является универсальным механизмом, мотивирующим компании совершать определенные действия или воздерживаться от их совершения.

Помимо указанных тенденций, обращает на себя внимание существенное отличие формулировок, используемых в международных экологических стандартах последних лет, от формулировок более ранних стандартов. Стандарты, в которых экономические инструменты используются в качестве механизма имплементации, сменяют стандарты, основанные на альтернативных подходах к имплементации. В результате формулировки норм становятся более конкретными, сокращается количество декларативных положений. Кроме того, в экологических стандартах воздействие компании на окружающую среду очень часто выражается в числовом значении (Pollman, 2022, p. 43). Такие формулировки являются более прозрачными и понятными для компаний и облегчают имплементацию экологических стандартов в бизнес-практики. Следовательно, можно предположить, что данная тенденция сохранится, и количество экологических стандартов, в которых экономические инструменты используются как путь имплементации, будет расти.

Необходимо выделить также тенденцию доминирования мягкого права в международном регулировании экологических стандартов. Она неразрывно связана с децентрализацией и выражается в преобладании рекомендательных норм над обязательными. Стандарты, принимаемые негосударственными субъектами, носят рекомендательный характер, что, однако, не препятствует их распространению среди компаний и ее заинтересованных лиц.

Поскольку компании активно осуществляют саморегулирование через профессиональные сообщества, а международные неправительственные организации разрабатывают рекомендательные нормы, можно предположить, что значение таких норм в международном праве будет возрастать. Компании будут соблюдать эти нормы по собственной инициативе, поскольку они позволяют привлекать инвестиции и облегчают взаимодействие с такими заинтересованными сторонами как регуляторы и фондовые биржи.

Заключение

В данной статье проведен анализ позиций ряда заинтересованных лиц компании, известных также как стейкхолдеры, относительно эффек-

тивности внедрения международных экологических стандартов в бизнес-практику посредством экономических инструментов. Анализ продемонстрировал, что заинтересованные лица, с которыми взаимодействует большинство компаний в процессе ведения своей деятельности, имеют разное, а порой и противоположное понимание эффективности. При этом каждое заинтересованное лицо способно мотивировать компанию к соблюдению международных экологических стандартов, поскольку от реакции таких лиц на действия компании зависят ее репутация и финансовые показатели, в частности капитализация. При разработке международных экологических стандартов в настоящее время преимущественно учитываются критерии эффективности их внедрения в бизнес-практику с позиции инвесторов. В рамках проведенного анализа были выявлены критерии эффективности с позиции и иных заинтересованных лиц, среди которых менеджмент компании, кредитные организации, СРО, фондовые биржи и потребители. Поскольку все эти лица могут воздействовать на принятие решений в компании, представляется целесообразным учитывать их понимание эффективности имплементации при разработке международных экологических стандартов (по аналогии с инвесторами). Такой подход соответствовал бы идее мотивирования субъектов предпринимательской деятельности к соблюдению международных экологических стандартов, лежащей в основе использования реакции заинтересованных лиц компании в качестве экономического инструмента в международных экологических стандартах.

В процессе исследования также выявлен ряд тенденций международного регулирования в сфере экологических стандартов. Некоторые из них наблюдаются и в иных отраслях и имеют значение для международного права в целом. Так, тенденция децентрализации правового регулирования выражается в увеличении количества экологических стандартов, принимаемых негосударственными субъектами. Данная тенденция является следствием комплекса взаимосвязанных процессов, среди которых активизация саморегулирования бизнеса и интенсивная разработка экологических стандартов международными неправительственными организациями. Следствием децентрализации является увеличение количества рекомендательных норм.

Одновременно наблюдается тенденция повышенного внимания субъектов, разрабатывающих экологические стандарты, к интересам компаний и их стейкхолдеров, что выражается в принятии норм, способствующих созданию благоприятного инвестиционного климата. Такой подход эффективно стимулирует бизнес к соблюдению этих

стандартов и предполагает использование экономических инструментов в качестве механизма их имплементации в производственные процессы. С учетом достаточно высокой эффективности данного подхода как средства мотивации бизнеса к имплементации международных экологических стандартов представляется, что он мог бы применяться не только в международном экологическом праве, но и в рамках правового регулирования правоотношений с участием бизнеса в целом.

Список литературы / References

1. Дорофеев, М. Л. (2022). Классификация методов и инструментов государственного финансового регулирования социально-экономического неравенства домохозяйств. *Вестник университета,* 5, 193–202.
   Dorofeev, M. L. (2022). Classification of methods and instruments of government financial regulation of household socio-economic inequality. *Vestnik Universiteta,* 5, 193–202. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-5-193-202
2. Понаморенко, Е. В. (2023). Корпоративный комплаенс в механизме международного финансово-правового регулирования. *Журнал ВШЭ по международному праву, 1*(2), 32–42.
   Ponamorenko, E. V. (2023). Corporate compliance in the mechanism of international financial regulation. *HSE University Journal of International Law, 1*(2), 32–42. https://doi.org/10.17323/jil.2023.18187
3. Almeyda, R., & Darmansyah, A. (2019). The influence of environmental, social, and governance (ESG) disclosure on firm financial performance. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5, 271–277. http://dx.doi.org/10.12962%2Fj23546026.y2019i5.6340
4. Amel-Zadeh, A., & Serafeim, G. (2018). Why and how investors use ESG information: evidence from a global survey. *Financial Analyst Journal, 74*(3), 87–103. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2925310
5. Archer, M. (2022). The ethics of ESG: Sustainable finance and the emergence of the market as an ethical subject. *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology*, 93, 18–31. https://doi.org/10.3167/fcl.2022.930102
6. Auzepy, A., Bannier, C. E., & Martin, F. (2023). Are sustainability-linked loans designed to effectively incentivize corporate sustainability? A framework for review. *Financial Management, 52*(4), 642–675. https://doi.org/10.1111/fima.12437
7. Barman, E. (2018). Doing well by doing good: a comparative analysis of ESG standards for responsible investment. In G. Cattani (Ed.) *Sustainability,*

stakeholder governance, and corporate social responsibility (advances in strategic management), 38 (pp. 289–311). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0742-332220180000038016

8. Bae, J., Yang, X., & Kim, M.-I. (2021). ESG and stock price crash risk: role of financial constraints. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 50*(5), p. 556–581. https://doi.org/10.1111/ajfs.12351
9. Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: the divergence of ESG ratings. *Review of Finance, 26*(6), 1315–1344. https://doi.org/10.1093/rof/rfac033
10. Bizoumi, T., Lazaridis, S., & Stamou, N. (2019). Innovation in stock exchanges: driving ESG disclosure and performance. *Journal of Applied Corporate Finance, 31*(2), 72–79. https://doi.org/10.1111/jacf.12348
11. Bradford, M., Earp, J. B., & Williams, P. F. (2017). Understanding sustainability for socially responsible investing and reporting. *Journal of Capital Markets Studies, 1*(1), 10–35. https://doi.org/10.1108/JCMS-10-2017-005
12. Burke, J. J. (2022). Do boards take environmental, social, and governance issues seriously? Evidence from media coverage and CEO dismissals. *Journal of Business Ethics, 176*(2), 647–671. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04715-x
13. Částek, O., & Cenek, M. (2017). A relationship between stakeholder management and business performance in the Czech republic. *Managing Global Transitions, 15*(2), 167–207. https://doi.org/10.26493/1854-6935.15.187-207
14. Chang, H-H., & Chuang, W-J. (2021). Encourage stakeholder engagement in sustainable development: drivers of consumers themselves benefits and society welfares. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28*(2), 748–762. https://doi.org/10.1002/csr.2085
15. Chatterji, A. K., & Toffel, M. W. (2010). How firms respond to being rated. *Strategic Management Journal, 31*(9), 917–945. https://doi.org/10.1002/smj.840
16. Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. *Strategic Management Journal, 35*(1), 1–23. https://doi.org/10.1002/smj.2131
17. Christensen, D. M., Serafeim, G., & Sikochi, A. (2021). Why is corporate virtue in the eye of the beholder? The case of ESG ratings. *The Accounting Review, 97*(1), 147–175. https://doi.org/10.2308/TAR-2019-0506
18. Dewi, A. K., Harto, P. (2023). The effect of environmental, social, and governance (ESG) disclosure on the company's market value in Indonesia.

Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 16(3), 608–619. https://doi.org/10.21107/pamator.v16i3.19923

19. Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. *The Academy of Management Review, 20*(1), 65–91. https://doi.org/10.2307/258887
20. Erasmus, E. G. (2025). Systematic risk and macroprudential regulations: a literature review. *Journal of Accounting and Financial Management, 29*(3), 241–263.
21. Horobeţ, A., Mnohoghitnei, I., Belaşcu, L., & Croitoru, I. M. (2023). ESG reporting and capital market investors: insights from the global technology and fintech industries. *Studies in Business and Economics, 18*(2), 178–195. https://doi.org/10.2478/sbe-2023-0031
22. Folqué, M., Escrig-Olmedo, E., & Corzo Santamaría, T. (2021). Sustainable development and financial system: integrating ESG risks through sustainable investment strategies in a climate change context. *Sustainable Development, 29*(5), 876–890. https://doi.org/10.1002/sd.2181
23. Fornasari, F. (2020). Knowledge and power in measuring the sustainable corporation: stock exchanges as regulators of ESG factors disclosure. *Washington University Global Studies Law Review, 19*(2), 167–233.
24. Gangloff, K. A., Connelly, B. L., & Shook, C. L. (2016). Of scapegoats and signals: investor reactions to CEO succession in the aftermath of wrongdoing. *Journal of Management, 42*(6), 1614–1634. https://doi.org/10.1177/0149206313515521
25. Gubareva, M., Umar, Z., Sokolova. T., & Antonyuk, V. (2023). For whom does it pay to be a moral capitalist? Sustainability of corporate financial performance of ESG investment. *PLoS ONE, 18*(5), e0285027. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285027
26. Hubbard, T. D., Christensen, D. M., & Graffin, S. D. (2017). Higher highs and lower lows: the role of corporate social responsibility in CEO dismissal. *Strategic Management Journal, 38*(11), 2255–2265. https://doi.org/10.1002/smj.2646
27. Jebe, R. (2019). The convergence of financial and ESG materiality: taking sustainability mainstream. *American Business Law Journal, 53*(3), 645–702. https://doi.org/10.1111/ablj.12148
28. Khanna, M., Quimio, W. R. H., & Bojilova, D. (1998). Toxics release information: a policy tool for environmental protection. *Journal of Environmental Economics and Management, 16*(3), 243–266, https://doi.org/10.1006/jeem.1998.1048
29. La Torre, M., Leo, S., & Panetta, I. C. (2021). Banks and environmental, social and governance drivers: follow the market or the authorities?

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(6), 1620–1634. https://doi.org/10.1002/csr.2132
30. Lee, E., Jung, C. S., & Kwak, J. (2016). The role of trade associations in environmental compliance under limited enforcement: the case of small businesses. *Environmental Policy and Guidance, 26*(5), 422–426. https://doi.org/10.1002/eet.1723
31. Menicucci, E. & Paolucci, G. (2023). ESG dimensions and bank performance: an empirical investigation in Italy. *Corporate Governance, 23*(3), 563–586. https://doi.org/10.1108/CG-03-2022-0094
32. Moloney, N., Ferran, E., & Payne, J. (2015). *The Oxford handbook of financial regulation*. Oxford University Press.
33. Nelemans, M. D. H. ESG targets for the financial sector and the choice of legal instruments. In L. Spataro, M. C. Quirici, G. Iermano (Eds.) *ESG integration and SRI strategies in the EU* (pp. 217–241). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36457-0_11
34. Park, Y. S. & Lee, H. S. (2023). The roles of finance in ESG management. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 52*(2), 354–373. https://doi.org/10.1111/ajfs.12436
35. Pollman, E. (2022). The making and meaning of ESG. *Harvard Business Law Review, 14*, 403–453.
36. Pranith, K. R. (2023). Enriching the green economy through sustainable investments: an ESG-based credit rating model for green financing. *Journal of Cleaner Production, 420*, 138315. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138315
37. Preuss, L. (2007). Buying into our future: sustainability initiatives in local government procurement. *Business Strategy and the Environment, 16*(5), 354–365. https://doi.org/10.1002/bse.578
38. Ronalter, L. M., Bernardo, M., & Romaní, J. M. (2023). Quality and environmental management systems as business tools to enhance ESG performance: a cross-regional empirical study. *Environment, Development and Sustainability, 25*(9), 9067–9109. https://doi.org/10.1007/s10668-022-02425-0
39. Toker, H. (2023). Global reporting initiative. In S. O. Idowu, R. Schmidpeter, N. Capaldi, L. Zu, M. Del Baldo, R. Abreu (Eds.) *Encyclopedia of sustainable management* (pp. 1701–1706). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_294
40. Vuong, M. (2022). The European Union's sustainable finance disclosure regulation: compliance & policy implications. *The International Lawyer, 55*(2), 395–407.

41. Zetzsche, D. A., Bodellini, M., & Consiglio, R. (2022). The EU sustainable finance framework in light of international standards. *Journal of International Economic Law, 25*(4), 659–679. https://doi.org/10.1093/jiel/jgac043
42. Zheng, J., Khurram, M. U., & Chen, L. (2022). Can green innovation affect ESG ratings and financial performance? Evidence from Chinese GEM listed companies. *Sustainability, 14*(14). https://doi.org/10.3390/su14148677

Научная статья / Research Article
https://doi.org/10.17323/jil.2026.39157

ПРАКТИКА | PRAXIS

Remedies for non-EU Geographical Indication applicants and the ensuing responsibilities of EU institutions and Member States

D. R. Di Bella

Bottega Di Bella law firm, Alicante, Spain
danilo.dibella@bottegadibella.com
ORCID: 0000-0002-5183-7674

Abstract

According to a 2021 European Commission study, EU-registered Geographical Indications (hereinafter — GIs) are single-handedly responsible for doubling the sale value of the underlying goods bearing such quality labels, which are recognised as intellectual property (hereinafter — IP) rights. In theory, this quality scheme is also open to non-EU producers. However, non-EU producers often face unreasonable delays in the processing and registration of their GI applications, notably when their products are perceived as competitors by EU-producers (particularly, in the case of spirits). In such instances, the line between IP promotion and protectionism becomes blurred. Thus, non-EU applicants that are missing out on GI-generated higher earnings and lost market opportunities may consider resorting to legal remedies to seek substantial compensation. The article has a twofold objective: on the one hand, to illustrate the regional and international remedies available to applicants from third States seeking to register a GI in the EU; on the other, to warn EU institutions and Member States about possible liabilities stemming from protectionist conduct. First, the article provides a comprehensive analysis of the EU legal framework governing GIs, including relevant case law of the Court of Justice of the European Union and the WTO Dispute Settlement Body. Practical situations in which non-EU GI applications have not been treated in conformity with the EU framework are identified, as evidenced by GI databases (including the GI applications for Russian vodka, Cuban and Venezuelan rums). An overview of EU regional remedies is provided to address these situations, together with an assessment of their pros and cons. The article then focuses on international remedies available under relevant bilateral investment treaties (hereinafter —

BITs) to remedy the unfair treatment endured by non-EU GI applicants experiencing unjustified delays compared to EU-based GI applicants. The author suggests recourse to these international remedies to seek compensation for the lost profit directly caused by the EU administrative delays in processing non-EU GI applications. Based on the 2021 European Commission study on GIs itself, such lost profit can be quantified as the difference in sale price over the period during which the applicant has endured these administrative delays. This difference in sale price is precisely equal to the total value of the goods exported to the EU during the contested delay, since a GI leads to a twofold increase of the sale value.

Key words: investment arbitration, geographical indications, intellectual property, WTO, EU law, EU competition law, bilateral investment treaties

Citation: Di Bella D.R. Remedies for non-EU Geographical Indication applicants and the ensuing responsibilities of EU institutions and Member States. *HSE University Journal of International Law.* 2026. Vol. 4(1). P. 152–177.

Danilo Ruggero Di Bella — director, member of the Madrid bar.

Правовые средства защиты, доступные заявителям на регистрацию географических указаний из государств, не являющихся членами ЕС, и связанные с этим обязательства институтов Европейского союза и государств-членов

Д. Р. ди Белла

Юридическая фирма Bottega Di Bella, Аликанте, Испания

danilo.dibella@bottegadibella.com
ORCID: 0000-0002-5183-7674

Аннотация

Согласно исследованию Европейской комиссии 2021 года, зарегистрированные в Европейском союзе географические указания (далее — ГУ) обеспечивают двукратное увеличение стоимости реализации соответствующих товаров, маркированных такими знаками качества, которые признаются объектами прав интеллектуальной собственности. Теоретически данная система качества открыта и для производителей из государств, не являющихся членами ЕС. Однако на практике такие производители нередко сталкиваются с необоснованными задержками при рассмотрении и регистрации их заявок на ГУ, особенно если их продукция воспринимается как конкурентная по отношению к продукции производителей из ЕС (в частности, на рынке спиртных напитков). В подобных случаях грань между

содействием охране интеллектуальной собственности и протекционизмом становится размытой. Поэтому для заявителей из третьих государств, которые вследствие отсутствия регистрации ГУ лишаются возможности получать более высокую прибыль и использовать дополнительные преимущества, связанные с географическими указаниями, открывается перспектива обращения к правовым средствам защиты с целью взыскания компенсации. Статья преследует двойную цель. С одной стороны, она выявляет, какие региональные и международные средства правовой защиты доступны заявителям из третьих государств, стремящимся зарегистрировать ГУ в ЕС. С другой стороны, она предупреждает институты Европейского союза и государства-члены о возможной ответственности, возникающей вследствие протекционистского поведения. Статью открывает всесторонний анализ правовой базы ЕС, регулирующей ГУ, в том числе практики Суда Европейского союза и Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации. Выявляются случаи, когда заявки на регистрацию ГУ, поданные производителями за пределами ЕС, рассматривались с нарушением требований законодательства ЕС, что подтверждается данными реестров ГУ (включая заявки на регистрацию российской водки, кубинского и венесуэльского рома). Далее приводится обзор региональных средств правовой защиты в рамках ЕС, предназначенных для устранения подобных нарушений, а также оцениваются их преимущества и недостатки. Затем рассматриваются международно-правовые средства защиты, предусмотренные в двусторонних инвестиционных соглашениях, которые могут использоваться для устранения последствий несправедливого обращения с заявителями из государств вне ЕС, сталкивающимися с неоправданными задержками по сравнению с заявителями, базирующимися в ЕС. Автор предлагает использовать данные международные механизмы для взыскания компенсации за упущенную выгоду, возникновение которой обусловлено задержками в процедуре рассмотрения заявок на регистрацию ГУ, поданных производителями из третьих государств. Опираясь на упомянутое исследование Европейской комиссии 2021 года, упущенную выгоду можно определить как разницу в цене реализации продукции за период, в течение которого заявитель сталкивался с административными задержками. Эта разница в цене реализации фактически равна совокупной стоимости товаров, экспортированных в ЕС в течение оспариваемого периода задержки, поскольку регистрация географического указания приводит к двукратному увеличению стоимости реализации продукции.

Ключевые слова: инвестиционный арбитраж, географические указания, интеллектуальная собственность, ВТО, право ЕС, конкурентное право ЕС, двусторонние инвестиционные соглашения

Для цитирования: ди Белла Д. Р. Правовые средства защиты, доступные заявителям на регистрацию географических указаний из государств, не являющихся членами ЕС, и связанные с этим обязательства институтов Европейского союза и государств-членов. *Журнал ВШЭ по международному праву / HSE University Journal of International Law.* 2026. Т. 4. № 1. С. 152–177.

Данило Руджеро ди Белла — директор; член Ассоциации адвокатов Мадрида.

Introduction

Geographical Indications (hereinafter — GIs) are credited for single-handedly doubling the sale value of the products that obtain such quality certifications in the European Union (hereinafter — EU). Attributing such a significant positive impact to GIs carries the drawback of requiring corresponding compensation for those whose GI applications have not been treated fairly. Such unfairly treated GI applicants often originate from third States. This article has a twofold objective: on the one hand, to examine regional and international remedies available to applicants from third States seeking to register a GI in the EU in the face of prolonged EU administrative delays; on the other, to alert EU institutions and Member States to potential liabilities stemming from protectionist conduct. Firstly, the article defines what a GI is and explains how to apply for one in the EU by providing an overview of the relevant procedural framework and its timeframe. Secondly, by examining the EU and World Intellectual Property Organization (hereinafter — WIPO) registries of GIs, the article points to situations where non-EU GI applicants have not been treated in conformity with the EU framework, suggesting that at times the EU instrumentalises GIs as a tool of protectionism. In the third and fourth sections, the available regional and international remedies are discussed, respectively.

1. An overview of the EU application procedure for a GI

The EU's GI system protects and promotes, through a quality certification, the names of typical food products, wines, spirit drinks, as well as craft and industrial products that originate from specific regions or countries and possess specific qualities or a reputation linked to the production territory. Geographical indications are recognised as intellectual property (Montero García-Noblejas, 2024a, p. 133) and are registered in the Union register maintained by the European Union Intellectual Property Office. Producers of products that are granted a GI recognition may label them with the distinct EU GI symbols to inform consumers of the inherent guarantees, thereby making the products easier to identify on the market. Food products and wines can obtain either a Protected Designation of Origin (hereinafter — PDO) or Protected Geographical Indication (hereinafter — PGI) as GI certification, depending on the degree of connection with the geographical origin (PDO signals that all stages of production occur in a specific territory, while PGI requires at least one stage to be linked to the territory of origin). Whereas spirit drinks, craft and industrial products are eligible only for GI protection (Moerland, 2025, p. 17). In its broad sense, the overarching term of EU GI includes the concept of Appellations of Origin (hereinafter — AO), as found in many international treaties and defined in

Article 2(1)(i) of the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications.

Since its inception in 1992, the EU's GI quality scheme has also been open to products originating from third States (art. 12, Regulation (EEC) No 2081/92).[1] Under the current framework, the EU GI system remains open to products that originate from outside the EU — art. 13(2) and 14(2) Regulation (EU) 2024/1143[2] — as long as they meet the requirements for a GI; i.e. the name shall identify a product:

a) originating in a specific place, region or country,

b) whose given quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin, and

c) if at least one of its production steps takes place in the defined geographical area.

Additionally, non-EU GI applicants need to prove that their product is protected in a similar manner in their country of origin.

Although a GI application may vary slightly depending on whether it concerns wine, a spirit drink, an agricultural product, or a craft or industrial product, it must include the product specification. This specification contains the name to be protected, a description of the underlying product and its production steps, the demarcation of the geographical area concerned, details evidencing the link between a given quality (or reputation or other characteristic) of the product and its geographical origin, the names and addresses of the competent authority or body entrusted with the quality control to verify producers' compliance with the product specification, and the Single Document summarising that product specification.[3] The GI application is to be submitted by the association or entity that brings together the producers of a given product — the so-called "producer group" — which becomes the right-holder of the GI once it is registered pursuant to Articles 9 and 32 of the Regulation (EU) No 2024/1143. Accordingly, the GI applicant is entrusted with the legal

[1] Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1992/2081/oj/eng.

[2] Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj/eng.

[3] The specific content of the Product Specification are detailed in Article 94 of Regulation (EU) No 1308/2013 for wine, Article 22 of Regulation (EU) 2019/787 for spirit drinks, and Article 49 of Regulation (EU) 2024/1143 for agricultural products.

protection of the common interests of its members (Montero García-Noblejas 2024b, p. 307).

Non-EU GI applicants can submit their applications directly to the European Commission, which is responsible for the examination, publication in the Official Journal of the European Union (hereinafter — OJEU), the decision on the admissibility of any oppositions, and the registration of the GI applications at the EU level (since the EU framework on GIs is uniform and exhaustive for all EU Member States according to the CJEU judgments in the 2009 case C-478/07, Budějovický Budvar,[4] and the 2017 case C-56/16 P, Port Charlotte).[5] Under Article 17 of Regulation (EU) 2024/1143, an opposition may be lodged by a Member State, a third State, or a natural or legal person having a legitimate interest, and the Commission decides on the admissibility of such opposition.

Absent admissible oppositions, upon the expiration of the three-month period following the publication of the application, the Commission shall register the GI pursuant to Article 15(4) Regulation (EU) 2024/1143 in combination with Article 21(2) of the same regulation. In order to be published, an application must fulfil the requirements for a GI; therefore, once it is published and in the absence of any opposition, it appears that the Commission cannot exercise any discretion to refuse registration of the GI.

In the event of an admissible opposition where the applicant and the opponent fail to reach an agreement, the decision on the registration of a GI falls to the EU Member States rather than the Commission. This is because the Commission must follow the examination procedure laid down in Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011, which sets out the rules and general principles concerning mechanisms for *control by Member States* of the Commission's exercise of implementing powers (emphasis added).[6] In such a case, a Committee composed of representatives of the EU Member States is convened by the Commission to vote on the draft implementing act to be adopted by the Commission. The Committee is chaired by a representative of the Commission, but the Commission does not take part in the Committee vote. The Committee delivers its opinion by way of a qualified majority (at least 55 % of the members

---

4 Case C-478/07, Budějovický Budvar, národní podnik v Rudolf Ammersin GmbH [2009], ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:521. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1E1C05672CEBF3B7042F1064687C355F?text=&docid=77071&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7825985.

5 Case C-56/16 P, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP [2017], ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:693. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL-EN/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0056

6 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj/eng.

of the Council comprising at least 65 % of the population of the Union). If the Committee delivers a positive opinion, the Commission adopts the draft implementing act registering the new GI; if the Committee delivers a negative opinion, the Commission rejects the application for registration accordingly.

Articles 15, 17, and 21 of the Regulation (EU) No 2024/1143 lay down a clearly defined administrative timeframe for processing GI applications, ranging from nine months to two and a half years depending on whether any opposition is filed:

The examination may take between six and twelve months. If the examination is favourable, the application is published, triggering a three-month period for filing any opposition.

In the event of an admissible opposition, a consultation period between the applicant and the opponent opens, ranging from three to nine months.

If an agreement is reached as a result of the consultation, the Commission shall register the GI after verifying that the agreement complies with EU law, and, if necessary, amend the information published in the OJEU provided that such amendments are not substantial.

If the opposition remains unsettled, the Commission has fourteen days to convene the Committee composed of representatives of the EU Member States, who shall vote on the draft implementing act within a proportionate time limit. Although this time limit is not expressly defined, it is conceivable that it shall not exceed six months, since a six-month period is the time initially given to the Commission to examine the application prior to its publication (accordingly, six months could be regarded as a proportionate time limit for this purpose).

Despite the clearly defined administrative timeframe, a 2022 report by the European Court of Auditors found the EU's GI registration process to be lengthy, with delays on selected samples of applications taking up to 48 months due to slow replies from Member States to the questions raised by the Commission.[7] Although the 2022 report referred to the previous regulation, delays in the processing of certain GI applications from third States persist under the current regulation.

It is worth recalling that, in addition to foreign direct applications, non-EU GIs may enter the EU Register by virtue of bilateral trade agreements whose annexes contain a list of GIs mutually protected by the contracting parties.

[7] European Court of Auditors, Special report, EU intellectual property rights, Protection not fully waterproof (2022). P. 29. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_EN.pdf.

2. Geographical indications in the EU: IP promotion or IP protectionism?

According to a 2021 study conducted for the European Commission — titled "Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)" — once a GI is registered, the certification leads to a twofold increase in the sales value of the product bearing the EU GI symbol (European Commission, 2021, pp. 110–113). This study helps to illustrate the strategic importance of IP rights in promoting the value of traditional goods that have a special link with a given terroir and the tangible effects of such intangible assets as powerful marketing tools (Adinolfi et al., 2024, p. 696).

This EU study is not alone in its findings. Much private (Raimondi et al., 2020, pp. 330–356; Crescenzi et al., 2023, pp. 985–1007) and institutional[8] research observing this phenomenon points in the same direction: a GI is an effective IP right capable of obtaining a significant price premium. Nonetheless, the considerable monetary value generated by GIs can become a double-edged sword whenever this opportunity is denied to a non-EU GI applicant or is unfairly delayed. Such an applicant may quantify the damage suffered by equating the loss to the total value of exported goods to the EU over the period the applicant has endured administrative delays at the EU level (since a GI certification spikes the sale value by doubling it). Thus, the increase normally attributed to and generated by a GI could effectively be used as a yardstick to assess the loss of profit directly caused by the European Commission delaying the registration of a given GI. Indeed, had the GI applicant obtained the GI in due time, it would have been in a position to double the sales value of the underlying goods bearing that certification, thereby grossing double the earnings actually achieved. This is based, on the one hand, on the striking statistics of the EU study — pointing to the premium price of GI products, whose sales value is on average 2.07 times higher than that of comparable standard products without a GI label (European Commission, 2021, p. 102), as well as at the ability of a protected GI to single-handedly double the sales value of the underlying products (European Commission, 2021, p. 35) — and, on the other hand, on the principle of full reparation under international law, which calls for applying counterfactual reasoning to estimate the loss suffered as a result of a State's internationally wrongful act. As this article will illustrate, EU delays can indeed amount to international violations attributable to the EU Member States.

[8] Strengthening sustainable food systems through geographical indications, An analysis of economic impacts, Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, Rome, 2018. P. 15. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/afc44660-75ac-43b4-918e-ef4915c0ff52/content.

To further substantiate the damage endured, such an applicant may look to comparable products whose GI applications were processed more quickly and whose sales value notably doubled following the attainment of the GI. Examples are provided by an EU Parliament press release[9] concerning the spirits category, a sector which, incidentally, appears to have the highest rate of non-EU applicants for GIs experiencing administrative delays that gradually assume the character of a temporal limbo after five or even ten years of waiting.

Notably, non-EU GI applicants have faced 'extra hurdles' to be listed in the EU Register (Crupi, 2022, pp. 95–110). For instance, the application for "Russian Vodka" submitted in 2010[10] and published by the European Commission[11] on 22 March 2013, as it complied with the EU GI framework (including the requirement of being protected as an appellation of origin at the national level under certificate No 0065 with Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), since 5 June 2003), has still not been registered as a GI. The application for the name "Russian Vodka" should have been registered once that the six-month period for oppositions had elapsed following its publication under the then applicable Article 17(7) of Regulation (EC) No 110/2008,[12] i.e. no later than 23 August 2013.[13] It is worth noting that such delays have nothing to do with any sanction targeting Russia. Additionally, the sanctions concerning IP rights imposed on Russia by Article 5s of the Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024[14] — providing that EU intellectual property offices and institutions shall not accept *new* applications for registration of, inter alia, protected designations of origin and geographical indications filed by Russian nationals or natural persons residing in Russia, or by legal persons, entities or bodies established in Russia — are not applicable

---

9 European Parliament. (February 28, 2024). Press Release, MEPs improve EU protection for quality agricultural products. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240223IPR18089/meps-improve-eu-protection-for-quality-agricultural-products.

10 eAmbrosia, Union register of geographical indications, Russian Vodka application's data. https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/details/EUGI00000016167.

11 European Commission's announcement of the Main specifications of the technical file for 'Russian Vodka' (2013/C 83/08), Official Journal of the European Union (March 22, 2013). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:083:FULL.

12 Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/110(1)/oj/eng.

13 Regulation (EC) No 110/2008 was repealed by Regulation (EU) 2019/787, which in turn was amended by . The six-month period for opposition and registration remained consistent throughout Regulation (EC) No 110/2008 and Regulation (EU) 2019/787, while Regulation (EU) 2024/1143 provides that the examination by the EU Commission can be by further five months.

14 Council Regulation (EU) 2024/1745 of 24 June 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1745/oj.

to applications filed before the implementation of this regulation (such is the case of the GI application for “Russian Vodka” that was filed back in 2010). Indeed, the EU sanctions emphasise “new applications”, implying that these restrictions are enforceable only against applications made after the date of entry into force of the Council Regulation.[15] Accordingly, this Council Regulation should be interpreted to mean that existing applications or registrations filed before its adoption shall not be affected by these sanctions on IP rights.

Such EU administrative delays also raise the question whether, at times, EU Member States deploy IP not so much as an instrument to promote their own products but rather as a protectionist measure to make their internal productions more appealing to consumers to the detriment of non-EU producers, thereby setting up the conditions for unfair competition. Coincidentally, this appears to be especially the case whenever the non-EU applicant offers a product that is the same or very similar to that of EU producers, thus risking becoming a direct competitor. Again, the case of vodka provides a striking example, as within the EU there exist Polish, Swedish, Finnish, Estonian, and Lithuanian Vodkas, all registered as protected GIs. By labelling EU-produced vodka as a GI, EU producers can make their goods appear as a more premium version of the Russian counterpart and double up their profits accordingly.

Rum provides another example of IP protectionism, specifically orchestrated by France, which counterintuitively is the biggest rum producer in the EU (thanks to its overseas territories). Whenever a non-EU producer group applies for a GI for rum, France automatically files an opposition, thus delaying the application.[16] Guatemalan and Cuban applicants for a GI for rum are among the non-EU producers affected by this French practice. The Cuban case is particularly curious, as Italy has also joined the French opposition, justifying it not on technical grounds but on the reasoning that granting a GI to Cuban rum producers would be tantamount to legitimising the expropriations that occurred during the Cuban Revolution. Another stated reason behind Italy’s objection to the Cuban application is the manifest intention to protect the interests of the Bacardi-Martini group, which has chosen Italy as its strategic hub, as reported in the transcriptions of the Italian parliamentary debate of 13 February

---

[15] See on this point the press release of July 1, 2024, by the European Communities Trademark Association (ECTA). https://ecta.org/en/latest-news-detail/news-973/eu-imposes-ip-registration-restrictions-on-russian-nationals-and-entities/.

[16] See for example, French *Commission Nationale Boissons Spiritueuses, Demande d’enregistrement de l’IG « Cuba »*, meeting of June 7, 2023. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/COMNAT-EDV-20231121-Note-opposition-IG-Rhum-Cuba.pdf.

2024[17] and of the Italian Government's reply of 11 April 2024 to that debate.[18] It is worth recalling that none of these reasons constitute an admissible ground for opposition under Article 19 of EU Regulation (EU) No 2024/1143. Furthermore, it is noteworthy that the Cuban appellation of origin for rum has already been registered as such under the Lisbon Agreement since 28 April 2015,[19] and that none of the EU Member States that are party to the Lisbon Agreement (Bulgaria, Czech Republic, France, Hungary, Italy, Portugal, and Slovakia) refused to grant protection to such appellation of origin.[20] Nonetheless, this Cuban appellation of origin remains de facto unenforceable in the territory of the EU because of the exhaustive nature of EU law on GIs.

Venezuelan application for "Ron de Venezuela" has met a similar fate — if not worse — as its application has not been published, despite having been filed on 30 July 2020, i.e., more than five years ago as of the time of this writing.[21] This is notwithstanding the fact that the examination of the application by the Commission prior to its publication should have taken six months at most under Article 26 of the EU regulation in force at the time the application was filed, namely Regulation (EU) No 2019/787.[22] Under Article 15 of the Regulation (EU) No 2024/1143 currently in force (which amends Regulation (EU) No 2019/787), the scrutiny of the application by the European Commission could have been extended by only five additional months. As long as the application remains unpublished in the OJEU, its processing stays internal and is therefore subject to arbitrariness, which further slows its handling

---

17 Italian parliamentary, transcriptions of debate of February 13, 2024. P. 123, https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/57949.pdf.

18 Italian parliamentary transcriptions of the Italian Government's reply of April 11, 2024 to that debate. P. 18–20. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01412210.pdf.

19 Registration of the Cuban Appellation of Origin of the term "Cuba" for rum under the Lisbon Agreement, dated April 28, 2015. https://lisbon-express.wipo.int/pdf/NOTIF_7123_AO-1010.pdf.

20 The transaction history of the registration of this appellation of origin under the Lisbon Agreement is available on the WIPO Lisbon Express Database at the following URL: https://lisbon-express.wipo.int/result-detail?offset=1&limit=1&keywords=%7B%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22*%22,%22sortBy%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22ST%22,%22val%22:false,%22operator%22:%22AND%22%7D,%7B%22key%22:%22%22,%22val%22:%22*%22,%22operator%22:%22AND%22%7D,%7B%22key%22:%22AP,TRI,TRA%22,%22val%22:%22CUBA%22,%22operator%22:%22AND%22%7D,%7B%22key%22:%22LIS_GEN_ACT%22,%22val%22:%7B%22lisbonAct%22:%22Y%22,%22genevaAct%22:%22Y%22%7D,%22operator%22:%22AND%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY.

21 Data of the GI application for Ron de Venezuela can be retrieved on the EU e-Ambrosia database. https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/details/EUGI00000017515.

22 Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj/eng.

compared with other GI applications. Venezuela has a long and rich history of rum;[23] there should be no reason why its product specifications do not meet EU standards. Moreover, Ron de Venezuela also meets the additional requirement under Article 13(2)(b) of Regulation (EU) No 2024/1143 of being protected as a designation of origin at the national level in its country of origin since 4 November 2003.[24]

Surprisingly enough, delays are not an exclusive feature of foreign direct applications. Some non-EU GIs that should have entered the EU Register by virtue of a bilateral trade agreement also experience delays in actually being registered within the EU (Crupi, 2022, p. 102), highlighting an unfortunate disregard for international commitments undertaken by the EU.

3. Regional remedies and their inefficiencies

Theoretically, non-EU GI applicants may bring actions before the General Court (hereinafter — GC) of the Court of Justice of the European Union (hereinafter — CJEU) to challenge unjustified delays by the European Commission, by means of an action for failure to act, an action for annulment, and/or an action for damages under Articles 265(3), 263(4), and 340 of the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter — TFEU), respectively. Pursuant to Article 256(1) TFEU, the GC has jurisdiction to hear such actions at first instance, and its ruling may be appealed to the CJEU at second and final instance.

The non-EU GI applicant may bring its claim as a “non-privileged applicant”, being a legal person rather than an EU institution or a Member State. Such an applicant has legal standing under Article 265(3) where it can allege that is has been directly affected by the European Commission’s inaction concerning the proper processing or registration of its own GI application, and given that the Commission has a non-discretionary duty to act under secondary EU law. Prior to the filing an action for failure to act, the non-EU GI applicant must formally request the Commission to register its GI application. After being formally called upon to act, the European Commission has two months to define its position on the registration of the GI application. If the Commission does not issue any statement defining its position within that period, the non-EU GI applicant may lodge an action for failure to act against the Commission with the General Court within the following two months. If the Commission issues

[23] Gibbs, A. (2024). Una pasión con nombre propio: Ron de Venezuela. 20 años D.O.C. Ediciones Punto Paladar. P. 18.

[24] Resolución Nro. 798 de fecha 15 de agosto de 2003 del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N°459 de fecha 04 de noviembre de 2003. https://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2024/06/BPI-459-TOMO-IX-DECLARATORIA-1.pdf.

a statement denying or further delaying the registration of the GI application, the action for failure to act becomes inadmissible, and the non-EU applicant may file a subsidiary action for annulment seeking to review the legality of the Commission's decision, within two months of its notification.

If the General Court upholds the applicant's complaint, it will declare in its judgment that the European Commission failed to act in breach of EU secondary law and thereby violated an obligation to act in the manner requested by the applicant (Thiele, 2021, para. 50). Depending on the circumstances of each case, the GC may find the Commission in violation of Articles 15(4) and 21 of Regulation (EU) No 2024/1143, meaning it failed to register the GI by means of an implementing act following the publication of the application and the expiry of the opposition period during which no admissible oppositions were filed (as is the case with the "Russian Vodka" GI application). Where an admissible opposition has been filed, the decision on the registration of the GI application falls to the Member States (as in the case with the Cuban application for rum and the French Government's opposition). In such circumstances, an action should not be directed against the European Commission, unless the delays stem from the fact that the Committee composed of representatives of the Member States has not yet been convened by the Commission to vote on the draft implementing act registering the application, or where the Committee has already delivered a positive opinion but the Commission has not yet followed through with the adoption of the draft implementing act registering the new GI, as required by Article 88 of Regulation (EU) No 2024/1143 and Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011. Where a GI application has been filed but has not yet been published despite the expiry of the examination period by the Commission, the General Court may find that the Commission has infringed Articles 15(2) and 15(4) of Regulation (EU) No 2024/1143, meaning it failed to examine and publish the GI application in due time (as may be the case with the Venezuelan GI application for rum).

Should the non-EU GI applicant need to lodge an action for annulment because the European Commission has adopted a position by issuing an unfavorable decision on its GI application, the applicant may rely on the ground of infringement of any rule of law relating to its application, pursuant to Article 263(2) TFEU. On this basis, the applicant may complain of violations of general principles of EU law[25] — such as the principle of protection of legitimate

[25] Case 4/73, Judgment of the Court of 14 May 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v Commission of the European Communities, para. 13. *European Court Reports 1974 -00491*, ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:51. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0004.

expectations;[26] the principle of equal treatment[27] (where its application has been processed significantly more slowly than other EU applicants), and the principle of reasonable time in administrative proceedings[28] — as well as violations of the relevant rules of secondary EU law (Mańko, 2019, p. 7), including the deadlines set out in Regulation (EU) No 2024/1143 for processing a GI application.

The actions for failure to act and for annulment both seek a declaratory judgment, meaning that if successful, the CJEU merely declares the infringement under EU law with *ex tunc* and *erga omnes* effects. Nevertheless, the European Commission is obliged to take the necessary measures to comply with the General Court's judgment pursuant to Article 266 TFEU. However, due to the declaratory nature of the judgment, there is no formal mechanism to enforce it. Thus, if the Commission fails to comply with the GC ruling, the applicant is left only with the option of bringing another action for failure to act.

Alongside an action for failure to act and/or for annulment, the non-EU GI applicant may bring an action against the European Commission under Article 340 TFEU to seek compensation for the damages sustained as a result of the Commission's infringement of EU law, consisting in indefinitely postponing the processing and registration of its GI application. During such an infringement, the non-EU applicant has been missing out on the higher earnings generated by the GI, which would have doubled its sales profits and allowed it to compete on an equal footing with EU producers holding a GI. Based on the 2021 EU "Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)", the non-EU applicant can readily demonstrate the damage it sustained — specifically in the form of *lucrum cessans* (lost profit) — as well as the causal link between the damage suffered and the Commission's infringement of EU law: had the Commission processed and registered its GI application in due time in accordance with EU law, the non-EU producers would have earned double the profit from its sales during the years that the unjustified delays have lasted.

As there are no EU rules regulating the amount of compensation that may be awarded and the method of its calculation, if the General Court finds that the EU is liable for damages, it will leave the quantification of the amount to

[26] Case C-519/07 P, Judgment of the Court (Third Chamber) of 17 September 2009, Commission of the European Communities v Koninklijke FrieslandCampina NV, ECLI:EU:C:2009:556. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-519/07.

[27] Cases C-182/03 and C-217/03, Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 June 2006, Kingdom of Belgium (C-182/03) and Forum 187 ASBL (C-217/03) v Commission of the European Communities, ECLI:EU:C:2006:416. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-182/03&language=en.

[28] C-282/95, Judgment of the Court of 18 March 1997, Guérin automobiles v Commission of the European Communities, ECLI:EU:C:1997:159. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5cc9ae7d5edb740ca85f5efb5c7ebaf7c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTahn0?num=C-282/95&language=en.

the parties so that they may reach an amicable settlement (Mańko, 2018, p. 7). Only if the parties fail to agree on the compensation to be awarded will the case return to the GC for its determination. Since such amicable settlements are often confidential, publicly available data on the compensation typically awarded are scarce. The available data come from cases where the GC had to determine the amount because the parties could not reach an agreement, and indirectly from the sums allocated in the EU budget that are earmarked for damages caused by EU institutions, bodies, and agencies.

Importantly, the action for damages is regarded as an independent remedy, meaning it is not conditional on the prior successful pursuit of a different cause of action. Furthermore, the action for damages could potentially be directed also against a Member State whose opposition had the sole objective of further delaying the registration of the non-EU GI applicant whose goods compete with that Member State's national producers. Indeed, this action allows for the establishment of concurrent liability where the damage is caused jointly by an infringement of an EU institution and one or several EU Member States (Mańko, 2018, p. 4).

Under Article 46 of the CJEU Statute, an action for damages must be brought within five years of the event giving rise to EU liability. However, where the damage caused by an EU institution is of a continuous nature (as is the case with non-EU GI applicants that suffer lost profit each year as long as the EU administrative delays persist), the claims for compensation become successively time-barred, meaning that damages cannot be claimed for any period falling more than five years before the action is filed.[29] Thus, in the case of the "Russian Vodka" GI application, which has been delayed for over a decade, the Russian applicant may claim the lost profit that the GI would have generated only for the last five years prior to the filing of its action for damages.

The main advantage of these regional remedies is that they are relatively inexpensive, since the proceedings before the GC and the CJEU are generally free of court fees under Article 139 of their respective Rules of Procedures. However, EU remedies for "non-privileged litigants" (i.e. individuals and legal persons) have a notably low success rate when addressing the liability of EU Institutions before EU courts (Mańko, 2018, pp. 8–9). Lack of predictability, consistency, and transparency, as well as the overall ineffectiveness of such EU remedies, have drawn many criticisms (Van Dam, 2013, p. 50) over the years, including from Professor A. Biondi (Biondi & Farley, 2009, p. 162), currently serving as Advocate General at the CJEU. Therefore, it is worth discussing the

[29] Case 256/80, Judgment of the Court (Fifth Chamber) of November 13, 1984, Birra Wührer / Council and Commission at para. 16, ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:341. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0256%2801%29.

international remedies available, as they may offer access to more neutral, impartial, independent, and effective dispute resolution mechanisms, as opposed to EU courts ruling on violations by EU Institutions.

4. International remedies and investment protection

To seek full reparation for the substantial damage that a non-EU applicant may incur from EU delays in obtaining a GI, the applicant may invoke the BITs in force between its country of origin and the relevant EU Member States. This is possible as far as such BITs qualify GIs as protected investments, and the Draft Articles on Responsibility of International Organizations (hereinafter — DARIO)[30] provide for situations where a State remains responsible for an internationally wrongful act even when the international organisation (hereinafter — IO) to which that State belongs has competence over the subject-matter of the breach (as is the case with the Commission *vis-à-vis* the EU Member States with regarding GI applications). Additionally, EU trade and investment instruments (where applicable) and international intellectual property treaties may offer further legal support to assert the commitments undertaken by EU institutions and Member States in the field of geographical indications protection, by operation of Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties (hereinafter — VCLT).[31] Indeed, Article 31(3)(c) VCLT enables investment arbitration tribunals to take into account "any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties" when interpreting an investment treaty, thereby fostering a systemic cross-fertilisation of international law (Bianchi & Zarbiyev, 2024, pp. 157–184).

Many BITs concluded by EU Member States treat GIs as protected investments. Some BITs do so expressly by using the term "appellations of origin" (e.g. Article 1(2) of the Spain-Russia BIT),[32] while others do so implicitly by referring to IP rights generally, and since a GI is a form of intellectual property, it falls within the definition of a qualifying investment (e.g.

---

[30] International Law Commission, Draft articles on the responsibility of international organizations, Yearbook of the International Law Commission, 2011, vol. II, Part Two. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf. Although the DARIO are not contained in any binding international instrument, to a great extent they reflect the state of customary international law regarding the allocation of responsibility between an international organization and its member states, based on landmark cases addressed in the DARIO Commentary. Therefore, the DARIO are an authoritative codification of international custom applicable to the EU Member States for this purpose.

[31] Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Done at Vienna on 23 May 1969. Entered into force on 27 January 1980, United Nations, Treaty Series, vol. 1155. P. 331. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.

[32] Russia-Spain Bilateral Investment Treaty, signed on October 26, 1990, entered into force on November 28, 1991. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2225/download

Article 1(1)(d) of the Italy-Cuba BIT).[33] Accordingly, EU Member States are bound by the obligations contained in their respective BITs with regard to GI applications, meaning they must accord fair and equitable treatment (hereinafter — FET) to such applications, as well as national treatment and the most-favored-nation treatment. Where an applicant faces unjustified delays or an undue rejection, particularly when its application is processed less favourably than a comparable product from another national, EU, or third-country producer, that applicant may argue that the EU Member State has breached these investment protection standards through multiple investment arbitrations. Arbitral tribunals have found that substantial delays may amount to a breach of the FET standard.[34] In each arbitration, the applicant may claim as compensation an amount equal to its sales volume in each EU Member State over the relevant period (since its loss consists of not having been able to double the unit sales value of its products). For instance, the "Russian Vodka" Producers Association could be in a position to seek compensation of over EUR 1 billion from the various EU Member States collectively for having endured a decade-long delay in the registration of its GI, considering that the EU imported approximately EUR 100 million worth of vodka from Russia per year during the contested period.[35]

Moreover, the GI applicant may also recover the amounts spent on advertising its product in the EU by its affiliates, since those sums amount to investments in the goodwill and reputation of the GI application — in other words, sunk costs for the purposes of investment protection.

Part Five of the DARIO addresses the responsibility of a State in connection with the conduct of an IO. Articles 59, 61, and 62 may assist a non-EU applicant in attributing to each EU Member State responsibility for the EU's protracted administrative delays or rejection of its GI application. Article 59 provides for the responsibility of a State that controls an IO in the commission of an internationally wrongful act. EU Member States exercise such control in cases of opposition by directly voting for the adoption of the implementing act that decides on the registration of a GI, and that contributes to administrative delays through their slow replies to the Commission. Article 62 provides for the responsibility of a State member of an IO that circumvents its international obligations by taking advantage of the fact that the IO has competence over the

---

[33] Italy-Cuba Bilateral Investment Treaty, signed on May 7, 1993, entered into force on August 23, 1995. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/907/download.

[34] *Cervin Investissements S.A. and Rhone Investissements S.A. v. Republic of Costa Rica*, ICSID Case No. ARB/13/2. Para. 664. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9215.pdf.

[35] Statista Research Department, Export value of vodka from Russia from 2016 to 2021 (in million U.S. dollars). https://www.statista.com/statistics/1013917/exports-of-vodka-by-region-russia/

subject-matter of the breach of that State's international obligations. EU Member States have certain obligations concerning the treatment of GI applications by virtue of the BITs they have entered into. Although Member States may have delegated competence over GIs to the Commission, they cannot delegate their responsibility to promote and protect such IP-qualified investments in accordance with their respective BITs. Under international law, the internal arrangements made by EU Member States do not override their international obligations, pursuant to the maxim *pacta sunt servanda*. Lastly, Article 62 provides for the responsibility of a State member of an IO for an internationally wrongful act of that organisation if that State has accepted responsibility towards the affected party. Importantly, such acceptance may also be implied. Thus, a Member State that does not actively remedy an international violation of the organisation may be held jointly and severally liable.

Interestingly, the emerging EU strategy of placing the protection of GIs at the heart of the intellectual property chapters of its bilateral trade and investment agreements has been cited as a factor suggesting a high likelihood of future investment disputes involving GIs, given the substantial role of public authority in shaping GI specifications, which may lead to protectionist and anticompetitive measures adversely affecting a GI proprietor's rights (Sanders, 2017, pp. 168–185). Examples of this EU practice include Article 46 of the Cotonou Agreement[36] — to which Cuba and the EU are parties — and Article 74 of the EU-Kenya Economic Partnership Agreement (EPA), both of which acknowledge the importance of protecting GIs. However, such EU trade and investment instruments generally do not offer the same degree of protection as individual EU Member States' BITs; accordingly, their role in enforcing a GI is marginal. On the other hand, EU bilateral agreements that exchange an appendix listing specific mutually recognised GIs may offer a robust level of protection. Such is the case with the EU-Chile Association Agreement,[37] which, curiously enough, recognises and protects "Vodka chileno" as a GI.

Regarding international intellectual property law treaties and their bearing on investment arbitrations involving GIs by way of Article 31(3)(c) VCLT, a distinction should be drawn between their procedural and substantive aspects. It is the substantive part of these treaties (such as the definition of GIs and

[36] Partnership agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 (the Cotonou Agreement), entered into force on April 1, 2003. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2499/download.

[37] 2002 Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.352.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2002:352:TOC.

the standards of protection to be accorded to them) that can have an impact in investment arbitrations. Critically, in the context of an investment arbitration, whether an IP right qualifies as a protected investment under the relevant investment treaty and whether the respondent State has breached one of its obligations with respect to that protected investment are questions governed by international law, rather than the municipal law of the host State. As international intellectual property law is part of international law, where an investment dispute concerns IP rights, the specialised rules of international intellectual property law enshrined in the relevant body of IP treaties may come into play as the applicable law for such a dispute (Oke, 2025, p. 180). Accordingly, applicable international IP treaties can serve to assess whether a breach of an investment protection standard under the relevant BIT concerning an IP-qualified investment has occurred. International IP treaties that provide for the protection of geographical indications include the 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the 1891 Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods, the 1958 Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration and its 2015 Geneva Act, the 1995 WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter — TRIPS) (Verma & Dhiman, 2024, pp. 78–81). Thus, infringements of obligations concerning GIs under any of these IP treaties may, where applicable, constitute the cause of action of a GI applicant in an investment arbitration.

Such infringements would translate into a breach of the FET standard under the applicable BIT, because the host State's compliance with the obligations contained in the relevant international IP treaties informs the content of foreign investors' legitimate expectations. In other words, foreign investors may reasonably rely on the host State respecting the international obligations of the treaties to which it is a party. Consequently, foreign investors are entitled to have those expectations protected against any host State infringement of such international obligations affecting their investment. Potentially, such infringements may also be regarded as a violation of the umbrella clause of the relevant BIT, whereby the host State undertakes to observe any obligations it may have entered into with respect to foreign investments (including those arising from IP treaties). Indeed, the possibility of enforcing WTO obligations through investment arbitrations is not a novel concept (Alford, 2013, pp. 55–60).

Notably, Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement imposes on the WTO Member States the obligation to provide interested parties with the legal means to protect their geographical indications. By obstructing the registration of a GI application that meets the definition of a GI under Article 22(1) of the TRIPS Agreement, the EU and its Member States are effectively preventing the GI

applicant from protecting its GI within the EU and are therefore contravening their obligation under the TRIPS Agreement to provide that interested party with the legal means to protect its GI in the EU. For instance, on multiple occasions during the Russia — EU Intellectual Property Dialogue Meetings, the Russian delegation raised concerns regarding the legal protection of the "Russian Vodka" designation in the EU, because without the registration of this GI, Russian stakeholders cannot properly protect their IP rights against the use of the term "Russian Vodka" in trademark applications in the EU or against counterfeit Russian vodka flooding the EU market.[38] A GI is also a helpful tool to protect a product against fraud, international standardisation, and unfair competition (De Filippis et al., 2022, p. 8).

By the same token, WTO jurisprudence also becomes relevant for interpreting the TRIPS Agreement where that international treaty becomes applicable law in the context of investment arbitrations dealing with IP investments, due to the very nature of the rights at stake (Allen & Soave, 2014, p. 31; Dolzer et al., 2022, pp. 262–263). Curiously enough, the EU application procedure for GIs has already been at the centre of a WTO dispute,[39] and the Panel's report — as adopted by the Dispute Settlement Body (hereinafter — DSB) — indeed found violations by the EU of the national treatment (hereinafter — NT) with respect to geographical indications under Article 3(1) of the TRIPS Agreement. In 2005, the WTO Panel held that the EU regulation in question did not provide NT to other WTO Members' right holders and products, because: (a) registration of a GI from a State outside the EU is contingent upon the government of that State adopting a system of GI protection equivalent to the EU system and offering reciprocal protection to EU GIs; (b) the regulation's procedure requires the non-EU GI holder to file its GI application in the EU through its own government, which must vet the application for consistency with EU regulations and operate a system of product inspection (so-called "government intervention") (Handler 2006, pp. 70–80). By providing "formally identical" but in fact different procedures based on the origin of a GI, non-EU nationals did not enjoy the same access to the EU system for GIs as EU nationals; thus, the EU regulation was discriminating against foreign nationals and foreign products with respect to GI protection. Following the WTO dispute,

[38] See Rospatent's Press release on 8th Russia – EU Intellectual Property Dialogue Meeting, December 7, 2009: https://rospatent.gov.ru/en/news/2009-12-07-2dc711f8-4e4b-11e1-cadd-9c8e9921fb2c and Rospatent's Press release on 9th Russia – EU Intellectual Property Dialogue Meeting of June 15, 2010: https://rospatent.gov.ru/en/news/2010-06-15-press_9.

[39] WT/DS174 - European Communities - Protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs, WTO dispute settlement case - Complaint against the EU by the USA, Panel report of 15 March 2005, adopted on 20 April 2005 by DSB. P. 165–168. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/174R.pdf&Open=True.

the EU amended its regulation on GIs to comply with the DSB's findings. Nonetheless, Australia and the United States still disagree that the EU has fully implemented the DSB's recommendations.[40] Admittedly, under the current EU regulation on GIs, foreign "government intervention" is no longer required to file an application for a non-EU GI. However, the requirement for the non-EU applicant to show that its country of origin has a system of GI protection equivalent to the EU system persists. Indeed, the non-EU GI applicant must prove that its product is protected in a similar manner in its own country as per Article 13(2)(d) of the Regulation (EU) No 2024/1143. That requirement appears to be interpreted in a non-stringent manner. However, where the EU does appear to continue discriminating against non-EU GI holders is in the length of time required to process and register non-EU GIs, which experience delays far beyond the administrative timeframe set for such purpose.

Likewise, the practice developed by those EU Member States that are party to the Lisbon Agreement on the Appellations of Origin (hereinafter — AO) may also give rise to investment arbitrations. Such EU Member States circumvent their obligations under the Lisbon Agreement on the pretext of the exhaustive nature of the EU framework on GIs, rendering AOs already registered in the International Register of the Lisbon system de facto unenforceable (unless and until they also undergo the protracted EU registration process). In such circumstances, under the applicable BIT, the GI proprietor could also invoke protection against expropriation of its qualifying investment (represented by its registered AO or GI in the Lisbon system). Indeed, by denying the legally binding effects of the Lisbon Register — where AOs and GIs should be directly enforceable in the States of the Lisbon Union — EU Member States are indirectly expropriating the GI from the GI proprietor. To a certain degree, the practice of EU Member States is also inconsistent with the CJEU's 2022 ruling in Case C-24/20,[41] *European Commission v Council of the European Union,* which allowed those EU Member States that were party to the 1958 Lisbon Agreement to ratify individually the 2015 Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications. If such EU Member States were ultimately authorised to ratify the Geneva Act — despite the European Commission's exclusive competence on GIs — then it follows that they are in a position to honour individually the international commitments entered into under the Lisbon system. Consequently, a GI or AO from the Lisbon

[40] See the WTO dispute overview: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds174_e.htm.

[41] Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 November 2022, European Commission v Council of the European Union. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:911. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0024.

Register should be directly enforceable in their respective territories without the prerequisite of also being registered in the EU register by the Commission.

Lastly, Article 10bis of the 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property — the first multilateral treaty providing for the protection of, inter alia, appellations of origin and indications of source — could also be interpreted imposing a further substantive obligation that is not met by the EU's protectionist use of Gis, thereby lending itself to possible investment arbitration. Article 10bis requires Contracting Parties to assure effective protection against unfair competition. Although the article is primarily aimed at ensuring protection against unfair acts by competing market actors, Article10bis(2) defines unfair competition broadly (Gangjee, 2024, p. 97) and Article10bis(3) provides a non-exhaustive list of acts falling within that definition. Therefore, this provision could be also construed as requiring the Contracting Parties not to actively engage in creating tailored conditions for unfair competition by discrediting the quality of a foreigner's goods on ground that the latter has not obtained a registered GI in the EU, as opposed to national manufacturers of the same goods. In other words, using GIs as a regulatory market measure to convey the misleading impression that certain foreign competitors' goods are of inferior quality compared to national producers' goods could constitute an act of unfair competition by a State, where the State (or the IO to which the State belongs) is deliberately delaying the attainment of the GI quality certification by those foreign competitors. As highlighted above, it would appear that EU Member States sometimes resort to the GI quality scheme as a protectionist measure by indefinitely delaying the granting of a GI to non-EU producers who happen to offer a product that can compete with EU producers because of its characteristics (as is the case of Russian vodka or Cuban and Venezuelan rums). As a result, GI EU products appear artificially more valuable on the market to the detriment of non-EU producers. Accordingly, such use of the GI quality scheme by the EU Member States, which skews the level playing field at the expense of non-EU competitors, may contravene their international obligation to guarantee fair competition as enshrined in Article 10bis of the Paris Convention and, in turn, the obligation to accord FET to non-EU GI applicants under the applicable BITs.

In a not too dissimilar fashion, Cuba argued that Article 10bis of the Paris Convention was breached by Australia in the WTO tobacco plain packaging case, where cigarette brands were mandatorily stripped from the packaging. Cuba maintained that Australia's legislative measures constituted an act of unfair competition, on the grounds that they created conditions for unfair competition by traders against which Australia was obliged to offer effective

protection.[42] In that case, the WTO Panel did not side with Cuba's argument, principally because Australia's measure applied indistinguishably to all competitors (nationals or foreigners) and public health concerns were a consideration warranting the use of regulatory powers.[43] By contrast, the EU's instrumentalisation of the GI quality scheme is selective (it primarily benefits EU producers), and no public health concerns can be invoked as a defense to justify the exercise of regulatory powers (if anything, the opposite is true, as some GIs promote the consumption of alcoholic beverages). Hence, in such instances, the argument that a State breach Article 10bis of the Paris Convention by distorting the conditions of fair competition may actually succeed. As noted above, studies and reports show that consumers are willing to pay a premium for goods bearing a registered GI in the EU. By unfairly delaying or denying the registration of a GI to non-EU producers, the EU and its Member States are actively distorting the marketplace, as their conduct affects the ability of non-EU producers to charge that premium, whereas EU producers of competing goods can do so. Such regulatory-generated asymmetrical conditions lead to unfair competition directly caused by the EU and its Member States. These measures could be sanctioned in investment arbitrations to the extent that they encroach upon intellectual property qualified as foreign protected investment. Indeed, non-EU producers are placed in a position where they cannot reap the same returns from their investments in their GI as EU producers can, due to the obstruction by the EU and its Member States.

Conclusion

According to EU Institutions, once a GI is registered, the unit sales value of a product bearing a GI certification becomes, on average, double that of a similar non-certified product. The EU GI system is designed to protect and promote IP rights and is also open to non-EU producers. However, non-EU producers often experience lengthy administrative delays in their GI application process at the EU level, especially, when their product is perceived — due to its inherent characteristics — as a competitor by EU producers (particularly in the spirits sector). In such instances, the line between IP promotion and IP protectionism becomes blurred.

---

[42] WTO, Reports of the panels, *Australia – certain measures concerning trademarks, geographical indications and other plain packaging requirements applicable to tobacco products and packaging*, 28 June 2018, B-60-71, paras 66–71. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_a_e.pdf.

[43] WT/DS435/R ; WT/DS441/R ; WT/DS458/R ; WT/DS467/R, Australia - Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging – Report of the Panels, para. 7.2721. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/435R.pdf&Open=True.

Had such a non-EU GI application been registered in due time, that non-EU producer could have marketed its products at double their sale price much earlier, since the certification causes a twofold increase in sales values. Consequently, such a non-EU applicant may be in a position to claim as lost profit the difference in sale price during the unjustified delay period in its GI application process, either by filing an action for damages before EU courts or by invoking the BITs in force between its home State and the EU Member States that protect IP rights, including GIs. EU legal action may be more affordable than international remedies, but the latter offer access to a neutral, impartial and more effective dispute resolution mechanism through international arbitration. Will Cuban, Venezuelan, and Russian GI applicants avail themselves of such remedies to seek substantial compensation? Resorting to these remedies may have the desirable effect of speeding up the registration of these non-EU GIs. Furthermore, even if these non-EU GIs are eventually registered, the respective GI holders will still be able to claim damages for the unfair delays their applications endured, which caused them lose half of their profits during the relevant period.

Список литературы / References

1. Adinolfi, F., Vecchio, Y., Masi, M., Mastandrea, G., Lambertini, G., & De Castro, P. (2024). The reform of EU geographical indications: A look at the newly approved Regulation. *AIMS Agriculture and Food*, *9*(2), 693–698. https://dx.doi.org/10.3934/AGRFOOD.2024037
2. Alford, R. P. (2013). The convergence of international trade and investment arbitration. *Santa Clara Journal of International Law*, *12*(1), 55–60.
3. Allen, B. E., & Soave, T. (2014). Jurisdictional overlap in WTO dispute settlement and investment arbitration. *Arbitration International*, *30*(1), 1–58.
4. Bianchi, A., & Zarbiyev, F. (2024). The magic of systemic integration. In *Demystifying Treaty Interpretation* (pp. 157–184). Cambridge University Press.
5. Biondi, A., & Farley, M. (2009). *The right to damages in European law*. Wolters Kluwer.
6. Crescenzi, R., De Filippis, F., Giua, M., Salvatici, L., & Vaquero-Piñeiro, C. (2023). From local to global, and return: Geographical indications and FDI in Europe. *Papers in Regional Science, 102*(5), 985–1007. https://doi.org/10.1111/pirs.12758
7. Crupi, M. (2022). A Pragmatic Approach to the Link to Origin: EU PDOS and PGIS for Registration, Innovation and Trade in Origin Products. [Doctoral Thesis, Maastricht University, Universidad de Alicante]. EIPIN-Innovation Society. https://doi.org/10.26481/dis.20220926mc

8. De Filippis, F., Giua, M., Salvatici, L., & Vaquero-Piñeiro, C. (2022). The international trade impacts of geographical indications: hype or hope? *Food Policy*, 112. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102371.
9. Dolzer, R., Kriebaum, U., & Schreuer, C. (2022). *Principles of international investment law* (3rd ed.). Oxford University Press.
10. European Commission: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, AND-International and ECORYS. (2021). *Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs) – Final report*. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2762/396490
11. Gangjee, D. S. (2024). Law(s) against unfair competition: The legitimacy of the UK approach. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 19*(2), 90–100. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad105
12. Handler, M. (2006). *The WTO Geographical Indications Dispute. The Modern Law Review, 69*, 70–91. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2006.00577_1.x
13. Mańko, R. (2019). Action for annulment of an EU act, European Parliamentary Research Service, (PE 642.282–November 2019). https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642282/EPRS_BRI(2019)642282_EN.pdf.
14. Mańko, R. (2018). Action for damages against the EU. European Parliamentary Research Service. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630333/EPRS_BRI(2018)630333_EN.pdf.
15. Moerland, A. (2025). Geographical indications upgraded: an overview of the recent changes in EU legislation on GI protection. *Maastricht LAW Research Paper*, *2025*(1), 1–26. https://doi.org/10.26481/mup.law.rps.2501
16. Montero García-Noblejas, P. (2024a). Las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. *Economía industrial*, *433*, 131–149. https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/433/14MONTERO_EI433_web.pdf
17. Montero García-Noblejas, P. (2024b). La transformación del sistema de indicaciones geográficas de la Unión Europea. In E. Gallego Sánchez, N. Fernández Pérez, & A. Asensi Merás (Eds.), *Innovaciones vegetales y signos distintivos de calidad en la era digital* (1ª edición) (pp. 297–328). Tirant Lo Blanch. https://open.tirant.com/cloudLibrary/ebook/show/9788410950351
18. Oke, E. K. (2025). International intellectual property law as applicable law in investment disputes. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, *40*(1), 174–189. https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf008

19. Raimondi, V., Falco, C., Curzi, D., & Olper, A. (2020). Trade effects of geographical indication policy: The EU case. *Journal of Agricultural Economics, 71*, 330–356. https://doi.org/10.1111/1477-9552.12349
20. Sanders, A. K. (2017). Geographical indications as property: European Union association agreements and investor–state provisions. In I. Calboli & W. L. Ng-Loy (Eds.), *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture: Focus on Asia-Pacific* (pp. 168–185). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/geographical-indications-at-the-crossroads-of-trade-development-and-culture/geographical-indications-as-property-european-union-association-agreements-and-investorstate-provisions/AA9D5D2763A03166E285B13F92B19568
21. Thiele, A. (2021). Action for failure to act: Court of Justice of the European Union (CJEU). *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, Oxford Public International Law. https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e2741.013.2741/law-mpeipro-e2741.
22. Van Dam, C. (2013). *European tort law*. Oxford University Press.
23. Verma, D., & Dhiman, D. (2024). The international legal framework for the protection of geographical indications. *International Journal of Law*, *10*(4), 78–81.